АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ

ДОЛ

на Старой площади

Сноски и примечания

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Андрей Колесников — эксперт Московского центра Карнеги, автор нескольких книг, среди которых «Спичрайтеры», «Семидесятые и ранее», «Холодная война на льду». Его отец — Владимир Колесников, работник аппарата ЦК КПСС — оставил короткие воспоминания. И сын «ответил за отца» — написал комментарии, личные и историко-социологические, к этим мемуарам. Довоенное детство, военное отрочество, послевоенная юность. Обстоятельства случившихся и не случившихся арестов. Любовь к еврейке, дочери врага народа, ставшей женой в эпоху борьбы с «космополитами». Карьера партработника. Череда советских политиков, проходящих через повествование, как по коридорам здания Центрального комитета на Старой площади… И портреты близких друзей из советского среднего класса, заставших войну и оттепель, застой и перестройку, принявших новые времена или не смирившихся с ними.

Эта книга — и попытка понять советскую Атлантиду, затонувшую, но все еще посылающую сигналы из-под толщи тяжелой воды истории, и запоздалый разговор сына с отцом о том, что было главным в жизни нескольких поколений.

- Андрей Владимирович Колесников
  -
  - Глава 1. Первые радости
  - Глава 2. Ваня и Дуня
  - Глава 3. Больше чем любовь
  - Глава 4. Обретение профессии
  - Глава 5. В штабе партии
  - Глава 6. По волне моей памяти
  - Иллюстрации

Андрей Владимирович Колесников
Дом на Старой площади
Сноски и примечания

В мыслях я снова с ними, как будто только здесь — деревянный стол над морем под оливами — как будто только здесь я могу воздать им сполна. Слова, что возникают на бумаге, напоминают — вкусом? запахом? — тех, о ком они — их дыхание, кожу, голоса, — и оборачивают их в податливый целлофан человеческой памяти.

Лоренс Даррелл. Александрийский квартет. Жюстин. 1957

Думаю, дело тут в любви: чем больше вы любите воспоминание, тем более сильным и удивительным оно становится.

Владимир Набоков. Из интервью. 1962

* * *

Ветер выворачивает наизнанку листья олив и даже длинные иглы средиземноморской сосны. Листья становятся серебряными. Облака, тщательно обработанные, повисают как белье на электрических проводах. Остров, в несколько раз меньше нашего, сегодня хорошо виден — как будто изображение специально промыли. Странность состоит в том, что в ясные дни, вроде бы не ветреные и жаркие, этого острова не видно. Вчера я наблюдал с большой высоты бухту и дом, где жил Лоренс Даррелл с женой Нэнси и вел свой островной дневник 1937 года — *Prospero's Cell*. Знал бы он, какие орды англичан в шортах с континентальным греческим пивом «Митос» наперевес двинутся сюда годы спустя

после него — клерка Форин-офиса, ненавидевшего Англию и служившего ей.

На моей родине в это время депутаты отменяют обувь на высоких каблуках, кружевные трусы и кеды. Расстояние усугубляет понимание абсурдности ситуации. Скоро они запретят самих себя, вернувшись к формуле Мая-1968 «Запрещено запрещать».

Пробуждение на острове: крики петухов, грай птиц, ветер, солнечный луч сквозь занавеску, летящий самолет. Отсутствие расписания на приходящий день. Всё точно так, как в детстве.

Патриотизм рождается малой родиной из детства, а не большой родиной из учебника или тронной речи.

Приехать сюда в ноябре, в сезон штормов. Поселиться в примитивном номере окнами на прибой. Слушать дождь, который ветер пригоршнями бросает в оконное стекло. Смотреть на серое море. Домучивать у скверного камина албанский коньяк, разлитый в портовом городе Дуррес. И так провести в оцепенении в обезлюдевшей курортной деревне несколько дней.

Здесь, наверное, трудно было поверить в то, что где-то может начаться война. Пусть даже холодная война. Бомбардировка рая — а она состоялась во Вторую мировую — специфический акт.

Газеты доставляют сюда к двенадцати дня. На соседний остров, оглушенный грохотом цикад, их привозят морем к вечеру. Из четырех указателей на этом острове три обозначают путь к агентствам недвижимости, причем на итальянском языке, а один — на свалку, на английском. «Обзаведясь в киоске прессою вчерашней», как писал Бродский… А вот у нас плохо работает вай-фай. Когда он отключается, хозяйка-англичанка иронически пожимает плечами: «*This is Greece… Bloody internet… Sorry*».

Здесь чаще во сне приходят родители и брат. Голова очищена от шелухи, вот они и приходят. К мемуарам отца я решил написать примечания. Или сноски. Или сноски и примечания. Чтобы объяснить себе своих родителей. И их время. И себя им — постфактум, *postmortem*. Посмотреть на мир их глазами и, как передают друг другу бинокль, дать им насмотреться на мою оптику. А потом повернуть его обратной стороной.

Вот аутентичный текст, написанный от руки неверным почерком инсультного больного и перепечатанный братом больше четверти века назад на только появившемся тогда «Хьюлетт Паккарде» — этими компьютерами была оснащена рабочая дача правительства в Волынском-2. А брат работал спичрайтером премьер-министра. Он умер через шесть лет после кончины отца. Электронная версия утрачена. Бумажная чудом сохранилась. Текст мемуаров отца, который имел два названия — «Это было,

было…» и «20 лет на Старой площади», я буду обозначать другим шрифтом. Начнем.

Глава 1. Первые радости

По дорожке Филевского парка медленно продвигается, тяжело опираясь на палку, высокий согбенный старик. Внимательно вглядывается в снежные бугорки и углубления, стремясь поставить ногу не на скользкое место. Неужели этот человек, с трудом переставляющий слабые ноги, — это я? Да, это я, Владимир Иванович Колесников, инвалид второй группы после «фирменной» болезни цекистов. В нашем кунцевском поселке живут бывшие работники аппарата ЦК КПСС, та самая ненавистная «партноменклатура», виновная, по мнению многих, во всех бедах нашего многострадального отечества.

Мы въехали в квартиру в этом поселке у метро «Кунцевская» в августе 1972-го. Однажды отец повез меня с Ленинского проспекта, где мы жили, показывать новый дом. Кухня, крашенные серым стены. И белая розетка, на которой красной краской было написано «Радио». Первого сентября в память о моем первом классе мы посадили у нашего дома выкопанный в парке клен — взамен упавшего мертвого старого дерева. Этот клен растет до сих пор. В нашем микрорайоне, в народе называвшемся Царским селом или Ондатровым поселком (за одинаковые шапки, которые шили работникам ЦК в ателье в Большом Черкасском переулке), проживал номенклатурный плебс — основная масса работников аппарата среднего звена и техническая обслуга. Наверное, количественно самый большой номенклатурный заповедник эпохи застоя.

Детские площадки, спортплощадки, магазин — «циковский», как говорили в том же народе, который невольно объединил два понятия — историческое и современное, оба символизировали большевистскую власть — ЦИК и ЦК. Считалось, что там «лучше снабжение», поэтому очереди были чудовищными. Чуть поодаль, практически в парке, за забором располагались два сверхэлитных дома, больше похожих на шикарные (в тогдашнем понимании) пансионаты, — академиков АН СССР и Совмина Союза. Совминовский дом якобы строили для Брежнева, но Леонид Ильич не захотел покидать квартиру на Кутузовском. Здесь жили, среди прочих, председатель Госплана Николай Байбаков, обозреватель «Правды» Юрий Жуков, чью передачу с разбором писем трудящихся о международной обстановке так любила смотреть моя бабушка (грузный, спокойный, пожилой Жуков вызывал доверие). И застрелившийся первый зампред КГБ Семен Цвигун. Существовал запрет на движение личного транспорта по дороге, которая шла вдоль забора этих двух домов, зато

останавливался самый обычный автобус.

Большинство моих сослуживцев прошли примерно одинаковый путь: после тяжких трудов, по принципу «пораньше приди, попозже уйди с работы», без отдыха, без выходных, еле-еле дожив до 60 лет, получали «в награду» инфаркт или инсульт и отправлялись либо на «склад готовой продукции» соседней Кунцевской больницы, либо после реанимаций и реабилитаций выбирались на слабых ногах на аллейки нашего парка.

Слишком серьезные обобщения. Да, многие перерабатывали. И да, зарабатывали сердечно-сосудистые заболевания. Рано умирали или теряли трудоспособность. Во многом это было связано с поколенческими проблемами со здоровьем — с военными или послевоенными детством и юностью. Тем не менее многие работники аппарата ЦК отличались, и иные и до сих пор отличаются, завидным долголетием.

Вообще говоря, ЦК был приписан к обществу «Динамо», и по выходным в Филевском парке невозможно было найти свободной лыжни — ответработники в синих шерстяных спортивных костюмах заселяли всё пространство. Брейгель бы не знал, что делать со столь щедрой натурой. Их достижения, километраж и время пребывания на трассе фиксировались специальными дежурными, которые по субботам и воскресеньям мерзли у входа в парк рядом с дачей товарища Промыслова, председателя Моссовета в течение 22 лет. Впоследствии там располагалась ешива, которую добрые люди однажды, в 1990-е годы, подожгли. А затем на этом самом месте построили элитный дом. Молва приписывала проживание там тогдашнему (времен строительства дома) премьер-министру Фрадкову. А теперь уже никто и не помнит, кто такой Фрадков…

Навстречу уверенно шагает трехлетний карапуз. «Дядя, вы старенький?» Голубые глазенки внимательно разглядывают мою палку. «Да, деточка». С чувством превосходства он гордо добавляет: «А я — молодой». Топает ножкой в красном сапожке: «Я могу бегать». И берет старт. Беги, малыш! А я вздыхаю: сам-то уже отбегался и даже отходился…

«Когда отчетливы приметы / Того, что стар и одинок, / Пиши чеканные сонеты, / Сонетов царственный венок. / Когда дела идут к закату / И руки скованней в кистях, / Играй воздушную сонату / Прозрачной формы в трех частях».

Да, вот пришло время и мне браться за сонет. Мемуарный «сонет» в прозе…

Это — стихи Ларисы Миллер. Я познакомился с ней в начале 1990-х и давал читать ее сборники уже тяжело больному отцу, понимая, что прозрачная ясность стихов Ларисы, ученицы

Арсения Тарковского, ему, стороннику всего классического, понравится. Это была своего рода терапия. И вот он процитировал стихотворение Миллер. Превратив в фактический эпиграф к своим воспоминаниям.

* * *

Мне кажется, что я помню себя с двух-трех лет от роду. В трехлетнем возрасте, то есть когда я уже уверенно ходил и бегал, мы жили в селе Киструс Спасского района Рязанской области. Помню высокий берег Оки и дорогу — спуск к воде, где река летом мельчала так, что можно было перейти ее вброд, и я видел, как тяжело нагруженные телеги и возы сена важно пересекали реку, а потом медленно карабкались вверх. Село, по моим представлениям, было сплошным яблоневым садом. Видимо, это была весна, и сады бурно цвели бело-розовым цветом. Наверное, я был озорным неслухом, потому что один бегал в амбар и барахтался там в куче зерна.

Позже мы с мамой приехали в город Спасск, где я прожил у бабушки Нади до семилетнего возраста. Небольшой домик на окраинной улице состоял из одной комнаты с большой печью, на которой я так уютно устраивался на ночь. В красном углу всегда мерцала лампадка, освещая большую, в золотом окладе, икону с темным ликом Богородицы, которую моя бабушка, стоя на коленях, упрашивала пожалеть нас, сохранить и помиловать неизвестно за какую нашу вину. Кроме того, из комнаты можно было выйти в просторные сени, откуда было два выхода — на улицу и во двор, где проходили все мои игры — почему-то всё время я строил там землянки. Через забор от соседей тянулись ветви яблонь и груш, а осенью на радость мне с них падали теплые плоды. А прямо за забором, по которому важно расхаживал его хозяин — боевой петух, начинались бескрайние поля и заветная тропинка к берегу Оки.

Плавать я тогда еще не умел, поэтому просто шлепал по колено в воде, спугивая стайки пескарей, или плескался, лежа на животе. Иногда вместе с друзьями просился перевезти нас на другой берег — там, в привольных заливных лугах, мы прыгали и кувыркались, вдоволь наедались диким луком. Надышавшись запахами луговой травы и цветов, спешили домой — или на пароме, или опять упрашивая счастливых обладателей лодок.

Таково свойство памяти — наводить резкость, если надо. Даже если чего-то сразу не видно, настроив оптику памяти, можно обнаружить множество деталей. Проложить дорогу.

Восстановить запахи и звуки, облик человека… Иногда резкость внезапно наводится сама. Вдруг просыпаюсь с четким слайдом перед глазами — прозрачное утро в рамке окна казенной дачи лета 1974 или 1975 года: синее небо и светоносные сосны. И вспоминаю стихотворение самой младшей сестры бабушки — обожаемой всеми тети Гени Кац-Каган, которая еще вернется не раз в это повествование: «…Тем ясным, теплым утром ранним / Возникло детство в дымке дальней / В каком-то легком полусне…» Потом внутреннее зрение можно перевести направо — грубо обструганные доски стены коммунального дома для работников ЦК, который был построен пленными немцами. А дальше взгляд может гулять куда хочет, как в видеопосещении на сайте какого-нибудь музея. И уже слышны голоса мамы и бабушки Любы, уже слышен мой собственный голос: «А почему баба Дуня по ночам кричит?» И уклончивый торопливый ответ родителей, чуть ли не хором: «Это ей снится, что ей доктор зубки лечит». И деревянное крыльцо, портал в большой лесной мир. И мой вопрос: «А кто такие евреи?..»

…Отец родился в 1928 году в селе Ижевское Спасского района Рязанской области. В то время дед работал там нарсудьей — после окончания Рязанского рабоче-крестьянского университета. В автобиографии дед, Иван Иванович, писал, что является выходцем из семьи «крестьянина-середняка». В то время, которое описывает отец, его папа трудился председателем Спасского райколхозсоюза. То есть в свои неполные 30 лет активно участвовал в коллективизации. Семья, несмотря на Богородицу, была преданно-коммунистическая. Моя бабушка Дуня, уже будучи очень пожилой женщиной, куда-то там направляясь из последних сил, говорила: «Я должна, ведь я — коммунист».

Эти убеждения — в буквальном смысле как веру — отец впитал от своих родителей. И ничто — ни опыт, ни образование, ни скептический склад ума, ни круг друзей-интеллектуалов — не смогло эту веру, абсолютно ортодоксальную, пошатнуть.

* * *

Меня всегда тянуло к воде. Впоследствии, где бы я ни был, первым делом шел к реке, чтобы «свои ладони в воду опустить», а при возможности и поплавать. Это были великие реки — Волга, Енисей, Иртыш, Лена, Ангара, Зея, Амур, — и везде вода принимала меня по-братски, как своего.

А еще озеро Байкал. В одном из писем 1968 года из

командировки папа писал маме о том, что видел Байкал. И что нигде не дышал таким воздухом. А в пыльном и загазованном Иркутске посмотрел прекрасную постановку пьесы, на которую в Москве не попасть, — «Варшавскую мелодию» Леонида Зорина. Ну да, как же попасть? Театр Вахтангова, постановка Рубена Симонова, в ролях Юлия Борисова и Михаил Ульянов, почти диссидентская тема, запрет на брак с иностранкой, хотя и из соцлагеря…

А все великие реки папа видел в бесконечных командировках, которые описаны в пяти блокнотах путевых заметок — с 1969-го по середину 1980-х. Блокноты пахнут его руками, его кожей… Или мне это только кажется. Но это мы еще обсудим.

…Сон. Нагорное, поселок ЦК КПСС по Новогорскому шоссе, за нынешним Куркином. Нагорное в той части, где был заросший, таинственный пруд, почти превратившийся в болото.

Отец с *чужим* лицом. То есть я знаю, что это он, однако у него лицо другого человека.

Все-таки родители редко снятся. И я иногда выпрашиваю у «высших» сил, чтобы это происходило чаще. Сознание замусорено текущими событиями? Или это их посмертная деликатность? Или я неблагодарный сын?

Еще сон. Мама предлагает съехаться. Оказывается, в продажу поступила наша старая квартира. Мечта о возвращении в детство перемешана с виной за то, что когда-то разъехались. Мечта-вина.

И еще сон. Брат (который много лет как умер) потерял работу. Я суечусь, звоню разным людям, в том числе его высокопоставленным друзьям, с которыми он стесняется по этому поводу связываться, устраиваю его дела. Он всегда был старшим не только по возрасту. И вдруг такая беспомощность…

И еще. Первый раз, когда я испугался за отца. Больше, чем за себя. В Нагорном, в 1971-м, мы пролезали через дырку в заборе поселка, чтобы выйти к реке. Папа напоролся лбом на здоровенный гвоздь. Кровь хлестала невероятно сильно. Пришлось вернуться домой. Мне было лет шесть.

На нашем острове в магазине я задел плечом стойку с оливковым маслом. Бутылка разбилась, упав на мою ногу. Моя пятилетняя дочь, мое нежное счастье, после полутора месяцев на море — цвета настоящего кофе маккиато, первой обнаружила сильный порез на моей пятке: хлестала кровь, как тогда, более сорока лет назад. Обнаружила и горько заплакала от страха и жалости ко мне. И долго не могла успокоиться…

Второй раз в жизни я испугался за папу, когда мы отдыхали на Куршской косе. Литовские товарищи напоили высокого московского гостя — завсектором ЦК — во время яхтенной

прогулки. Ночью я проснулся в номере дома отдыха от того, что отцу было по-настоящему плохо. Мама суетилась вокруг него. Он называл маму «кошечка моя», и эта интимность меня тоже поразила и испугала. Мне тогда было лет девять, но неловко было обнаружить то обстоятельство, что я не сплю и вообще от страха хочу в туалет.

Когда у отца в 1990-м, на второй день после ухода на пенсию, случился первый инсульт, я испугался так же, как и в тот день, когда он напоролся на гвоздь. В 1971-м была тренировочная травма.

Продолжаем разговор.

…А потом было Черное море. Не только то, что плещется как приложение к санаторию, а настоящее, серьезное. Впервые я увидел его с высоты Байдарских ворот, когда автобус привез нас из Севастополя и остановился над обрывом. Открылось огромное, вполнеба темно-синее пространство, и я воочию увидел кривизну земного шара и задохнулся от радости. Потом я уплывал в синеву, насколько хватало сил, и возвращался в изнеможении.

У меня был и остается свой Крым. Совсем не «наш» — мой.

Я просыпаюсь в пять утра — меня выбросила из сна на гурзуфскую гальку волна Черного моря. Но я не на берегу, а в своей постели. Во сне, почему-то в сумерках, мы плыли с родителями к берегу. Я вроде бы был в своем сегодняшнем возрасте, а родители чуть младше меня: ведь если это Гурзуф, то значит они — из лета 1975-го или 1976-го, то есть им еще нет пятидесяти. Но в то же время я — маленький, потому что они меня заботливо сопровождают.

Нигде нет такого фантастического, мощного, не разменивающегося на постепенность, сразу втягивающего своей глубиной, но не враждебного и щедро делящегося восстанавливающей силой моря. Его чувствуешь всеми по́рами, всеми мышцами, всей своей эмоциональной архитектурой. И такого воздуха. И таких пейзажей. И одного главного пейзажа, который воспроизводится на всех открытках, начиная с XIX века.

Но я проснулся и подумал, что это — смерть. Родители проводили меня до берега, до самих себя. Проводили взволнованно-заботливо. И тогда мне стало страшно. Их не было здесь, вне сна. Я вспомнил сцену из «Сарабанды», последнего фильма Ингмара Бергмана, когда напуганный ночными мыслями о смерти герой Эрланда Юсефсона, жалкий, старый, без трусов, с обвисшими яйцами, стучится в дверь приехавшей навестить его бывшей жены.

Вот она какая — смерть. А вид на Аю-Даг и волшебное море, всё в цветах с картин Коровина, бухта под дачей Чехова с внешне

яростными, но на самом деле просто играющими в ярость волнами, — остаются.

И еще счастливое ощущение причастности к водной стихии испытал я, когда появились у нас маски и ласты для подводного плавания. Это было в Крыму. Мы с Володей Митяевым кромкой восточного берега пробрались самостоятельно от Коктебеля до Ай-Даниля. Натянули маски и пошли, неуклюже шлепая ластами, к воде. Первым нырнул Володя. И вдруг я увидел бурные пузыри и услышал какое-то рычание. Я испугался, и кинулся за ним вслед, и тут же дико зарычал сам, когда увидел красоту подводного мира — в голубом сиянии мирно паслись стайки неведомых рыбок и покачивались невиданные цветы. Чуть не задохнувшись, мы одновременно вынырнули и, обменявшись впечатлениями, уже более спокойно стали исследовать морские богатства.

Начались счастливые дни общения с нашей праматерью-природой. Насколько хватало дыхания, мы проплывали мимо обросших камней. Лежали на песке под снопами солнечных лучей, которые причудливо преломлялись в воде, заплывали в таинственные гроты. Внизу открывались бездонные голубые пропасти, а мы, ничтожные козявки-пылинки, суетились где-то наверху. Фантастические картинки сменялись как в волшебном фонаре. Забирались мы в знаменитые Сердоликовые бухты, где в крупнозернистом золотом песке находили кусочки яшмы, горного хрусталя и массу разноцветных сердоликов. Затем была Царская тропа, Бухта-барахта и другие сказочные, тогда еще дикие и безлюдные места. В награду как первопроходцы мы получили возможность открыть местонахождение Крымского завода шампанских вин и в местном киоске купили этот божественный, без преувеличения, напиток, золотое дыхание которого мы ощущали потом полдня. А позже пришло время Балтики. Но об этом разговор потом…

Любование природой — лесом, полем, горами, морем — отцовская черта. Море он, как всякий представитель своего поколения, увидел поздно. Думаю, где-то во второй половине 1950-х. Отсюда и восторг открытия. Тогда это были не совместные поездки всей семьей, с мамой и старшим братом, а, в силу служебных и финансовых обстоятельств, индивидуальный отдых, причем, как правило, в несезон (прямо по Бродскому: «Приехать к морю в несезон, помимо матерьяльных выгод, имеет тот еще резон, что это временный, но выход за скобки года…»). О чем свидетельствуют многочисленные открытки и письма с общедоступных советских курортов, из домов отдыха с совершенно спартанским режимом существования.

Ну а о Балтике действительно разговор — потом.

Когда я был маленьким, да и во взрослом состоянии, глядя на отца и мать, всегда хотел узнать, что они думают, как относятся ко мне. Но ответа не было. Родители мои всегда были молчаливы, скромны и не откровенничали. Это пошло́ наверное, от дедушки Ивана Андреевича, которого бабушка Елена Сергеевна всегда корила: «Что же ты молчишь, старый пень?» В ответ дед только усмехался в бороду.

Так и промолчал всю жизнь, по уверениям бабушки.

Дед дал нам свою фамилию. Он был искусным колесником, к которому обращались за помощью со всей округи — ведь каждому надо было починить телегу или заменить колесо. Дед великолепно точил на токарном станочке спицы для колес, ступицы, а затем отправлялся в кузницу, чтобы насадить на деревянное колесо железный обод. Зимой колесник превращался в саночника. Ладил легкие резные санки с изящными украшениями — загляденье просто! Долго па́рил в печи толстые березовые полозья, ловко загибал их и перевязывал лыковыми тяжами — и всё один. Дети, мои дядья, жили своими семьями, а внуки были еще маленькие, толку от них пока было мало. Помню, мне дедушка доверял только спицы строгать и терпеливо подсказывал, как лучше действовать стамеской и ножом.

Показал как-то мне, как из липового бруска вырезать ложку. Я, конечно, постарался для себя сделать большую ложку, похожую на половник, и лихо зачерпывал щи из общей миски за столом. Однажды, зачерпнув своим орудием хороший кусок мяса со дна миски, вдруг получил наглядный урок: мой тихий незлобивый дедушка взял мою ложку, облизал ее и с размаху хлопнул меня по лбу. Я вытаращил от неожиданности свои рязанские глазищи и заревел, а дед спокойно вернул мне половник и разъяснил городскому мальчишке, что мясо выбирается из миски после того, как все щи уже выхлебаны, а главное — только после взрослых. Дети должны знать свое место. Бабушка Елена Сергеевна властным серьезным голосом подтвердила строгие правила. Это был урок на всю жизнь.

Отец очень гордился своим крестьянским происхождением, всегда подчеркивал, что его серо-голубые глаза — рязанские, считал, что умеет столярничать. Но в этом было некоторое преувеличение. Сформировался он сначала скорее в слободской, а потом в городской среде — коммунистической, уравнивавшей и нивелировавшей все и вся.

В строгом смысле слова он, конечно, был москвичом — с подросткового возраста, с войны, жил в самом центре города, рядом с улицей Горького, в Дегтярном переулке, а учился здесь

же рядом в 167-й школе, бывшей 25-й образцовой, интересовался гуманитарными предметами и опереттой (шире — театром и кино в целом, собирался стать актером, занимался в драматических и хоровых кружках). Словом, социологически это была такая разночинная среда, из которой в том числе рекрутировалась будущая интеллигенция 1960-х годов. И деревней мои родители интересовались не больше, чем любые среднестатистические интеллигенты. Да, в домашней библиотеке были Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Федор Абрамов. И лишь одна книга Василия Белова — очерки о народной эстетике на мелованной бумаге, изданные «Молодой гвардией». Огромное собрание поэзии, в котором не было Николая Рубцова. По-настоящему читанные тома — Распутин и Астафьев. Но тогда эти тексты входили в обязательный джентльменский набор советского интеллигента, и никакой русопятости, кроме любви к подмосковной природе (и к природе Балтики, Крыма и черноморского побережья Кавказа) не наблюдалось вовсе. «Русская партия» обошла стороной выходца из Рязанской области, коммунистический интернационал был важнее, равно как и жена-еврейка, теща-еврейка, родственники-евреи и друзья-космополиты — известный адвокат и видный редактор. Что уж говорить об отдыхе на северо-западном взморье — Рижском, на Куршской косе и в Паланге, в Таллине и Пярну. Отдыхе, сопровождавшемся общением с местными элитами и творческой интеллигенцией из метрополии.

Деревенская жизнь с ее твердым распорядком, своими вечными ценностями познавалась мною медленно и трудно летом 1941 года, когда после первых бомбежек меня отправили из Москвы к дедушке и бабушке в село Бугровка Черневского района Рязанской области. Спасали меня от авиационных налетов фашистов на Москву, а отправили прямо навстречу наступающим врагам, которые вошли в нашу деревню в ноябре.

К тому времени я уже вполне освоился с деревенской жизнью.

Ездил верхом на неоседланной лошади, работал на стоговании сена, на молотилке, крупорушке, да и вообще на подхвате — дел всегда хватало. Самое трудное испытание — работа пастухом. Пас телят, вставать надо было в 4 утра — это казалось невозможным, но чувство долга брало верх. Зато с форсом щелкал кнутом. Сначала не очень получалось, сплести кнут — большое искусство, но обучали меня опытные пастухи, и из тонких ремешков и конского волоса образовывалось это чудо: резкий рывок рукоятью — и получался громкий выхлоп, как выстрел. Это было своего рода щегольство, хвастовство уменьем. Телятам не очень это нравилось. Но самое ужасное в этом деле,

когда телята, как дети, разбегались в разные стороны, а их нужно было собрать в одно место. Они же, как капризные ребятишки, не слушались. Вот тут-то и требовался кнут…

Иногда хозяйка жаловалась на меня, и тогда немедленно следовала расплата — вступала в дело статная Елена Сергеевна, которую мы все, дети и внуки, а также дед очень боялись и беспрекословно ей повиновались. Все ее внучки от разных детей получали ее имя, которое варьировалось: Лена, Леля, Ляля и моя сестра Ёлочка.

Ее мы привезли с Дальнего Востока, она родилась там, в городе Свободном, в 1937 году. Я очень ее любил и всегда заботился о ней. В семье сложилось такое положение: Ёлочка — папина дочка, а я — маменькин сыночек, даже внешне. Сестра была на моем попечении — нелегко быть нянькой в 10-11-летнем возрасте, особенно когда соседские ребята зовут гулять на улицу. Тогда я выходил с «хвостиком» — малышка следовала за мной по пятам. Во взрослой жизни наши пути с сестрой разошлись, работа заела меня, но я всегда знал и чувствовал ее привязанность, любовь и поддержку и был уверен, что родители мои в надежных руках…

Осенью мне вручили трудовую книжку — 220 трудодней я заработал сам. Очень гордился, в нашей семье по числу трудодней я оказался на втором месте после дедушки. А он зарабатывал больше всех в колхозе со своей редкой и такой нужной специальностью колесника — более двух тысяч. Когда получали расчет по трудодням, дедушке загрузили подводу шестью мешками зерна, и он, улыбаясь, сказал: «Да хватит, хватит, куда мне столько». К этому на трудодни еще выдавались картошка, овощи, бидон меда и по 2 рубля 50 копеек на один трудодень. Колхоз наш был богатый, участник ВСХВ (сельскохозяйственной выставки в Москве).

Кроме такого заработка у нас был свой огород, на котором выращивали картошку, капусту, морковь, лук и даже горчицу. Для меня это была новость, я, конечно, не знал, как горчица растет и что из нее можно делать горчичное масло. Оказалось, что самая вкусная каша — это пшенная каша с горчичным маслом. Еще одно открытие для меня: квас делали не хлебный, а из ржаной муки, не сладкий, а кисленький, в жару самый подходящий.

1 сентября я пошел в пятый класс Бугровской сельской школы. Разницы с московской школой особой не было. Та же беготня на переменах, только ругань была вполне взрослая и ребята поздоровее. Один второгодник-верзила угнетал нас, слабеньких, особенно придирался к «городским», их вообще презирали. Правда, около меня образовался небольшой круг

почитателей советской литературы, я много рассказывал о прочитанных книгах Аркадия Гайдара. Ребята с восторгом слушали о приключениях Тимура и Мальчиша-Кибальчиша.

Симптоматично: сельская школа для городского мальчика — как зона для интеллигента. И способы самозащиты те же — пересказ литературы. Только не Дюма или Жюль Верна, а Гайдара. Но социальная картинка та же.

Что же до «папиной дочки» Ёлочки, то совсем недавно я смотрел во время отпевания на ее неузнаваемый профиль…

Да, мне было о чем порассказать, ведь я учился не только в московской школе, но и на Дальнем Востоке. А Дальний Восток в то время был самым романтичным местом, о котором мечтали все мальчишки и девчонки. Героический беспосадочный перелет В. Гризодубовой, П. Осипенко, М. Расковой поражал воображение. Я был счастлив, когда узнал, что наши героини будут проездом в городе Свободном Амурской области, где мы тогда жили. Помню, собралась огромная толпа с флагами, лозунгами. Играл духовой оркестр. Наконец подошел поезд. Под радостные крики из вагона вышли три красавицы (так тогда мне показалось) и помахали нам руками. Толпа грянула «ура».

Вот и вся встреча, которая запомнилась навсегда. Мы еще долго бежали вслед за поездом.

Мы жили далеко от Москвы, но всегда ощущали причастность к общему великому делу, чувствовали себя гражданами великой страны.

Вот здесь стоит остановиться. В этом — причина конформизма, воинствующего конформизма моего отца. Он был воспитан в коммунистической вере, был послушным мальчиком, который воспринимал всё как должное, на всех этапах взросления старательно выполнял навязывавшиеся социальные роли. И надо сказать, что в этом как бы проходном, почти парадном высказывании схвачена суть того, как работала система. Было ощущение общего дела — *res publica*. Какое дело, кем сформулировано, как насаждалось — все знаем. Но чувство — было. В том числе ощущение гражданства. В стране, где ни на что повлиять было нельзя, часть населения действительно выступала в качестве граждан, активных участников общего дела. А Гризодубова, Осипенко, Раскова, реальные героини, становились иконами — частью сталинского пиара этого общего дела, психологического стержня государства. Характерно и то, что летчицы показались восьмилетнему мальчишке красавицами. Потому что были пришельцами из мифа, ожившими принцессами. Но от них после отбытия поезда и туфельки-то не осталось…

Потом так же встречали и хетагуровок — девушек со всей

страны, поехавших осваивать Дальний Восток.

Вот вам и пространственное развитие. Вот вам и освоение Дальнего Востока, над которым безуспешно бьются нынешние начальники. Нужна была одна «красная» Золушка, Валентина Хетагурова, которая обратилась к девушкам Страны Советов с призывом ехать на Дальний Восток. За четыре дня после публикации письма пришло 1770 заявлений с просьбой отправить на работу на дальние рубежи — без всяких социальных сетей. Вернее, это и была социальная сеть — по-советски. Горизонтальная мобильность, одно слово! А как убедительно звучало само обращение Хетагуровой, жены командира Красной армии: «…Нам нужны слесари и токари, учительницы и чертежницы, машинистки и счетоводы, конторщицы и артистки… Нам нужны просто люди — смелые, решительные, самоотверженные. Вас ждут замечательная работа, замечательные люди, замечательное будущее… Мы ждем вас, дорогие подруги!»

А дальше — песенное творчество и кино, искусство, которое из всех является важнейшим, — не менее эффективное средство пиара.

А с каким воодушевлением пели мы на пионерском сборе: «Летим мы, товарищ, дорогой высокой, наш путь над тайгою пролег. Байкал мой глубокий, Амур мой широкий, мой Дальний советский Восток». Всё было «мое», а вернее — наше.

Но особенный успех имела песня про трех танкистов. Границу мы ощущали остро, она была рядом.

Песня «На Дальнем Востоке» Ю. Милютина и В. Гусева, написанная в 1937 году, мягко говоря, незамысловата. Но маршевый ритм и лозунговые слова с акцентом на *res publica*, чувстве сопричастности делам родины и коллективной собственности — «Амур мой широкий» — всё это работало. Раз уж даже мальчишки пели. Там еще были такие слова: «Край могучей, радостной работы, / Комсомольский, смелый, молодой, / Край, согретый сталинской заботой, / Озаренный сталинской звездой».

Ну а «Три танкиста» — заслуженно легендарное произведение из легендарного же фильма Ивана Пырьева 1939 года «Трактористы» с обаятельнейшим и ставшим культовой фигурой Петром Алейниковым, за которым закрепилось его «сценическое» имя — Ваня Курский. Слова Бориса Ласкина, одного из многих талантливых евреев на службе пропагандистского кинематографа, музыка — двух братьев Покрасс, третий из которых сочинял мелодии за океаном, в Голливуде.

Бои на озере Хасан в 1938 году, Халхин-Гол в 1939-м — всё

это было географически далеко от города Свободный, где Зея впадала в Амур, но всё это был «мой Дальний советский Восток».

Весной 1940 года я со своим другом Виктором отпросился у мамы на рыбалку. Наш городок стоял на реке Зее и плавно переходил в деревню, в конце которой за сопками грозно передвигал свои волны Амур-батюшка. В большой лодке разместилось человек 6–7.

С огромным трудом мы переправились на другой берег и оказались в Китае. Но для нас это был просто другой берег реки. Было половодье, льдины только-только растаяли. На большом лугу были ямы, талая вода ушла, но кое-где осталась и врасплох захватила рыбу. В ямах плескались огромные рыбины, которых мы вытаскивали прямо за жабры. С богатым уловом возвращались мы домой. Да не только с рыбой, но и с икрой, ведь это была кета! Кстати, отношение к красной икре удивляло меня потом всю жизнь. В Москве мне всегда было смешно слышать, что получение икры — какая-то «привилегия». Ведь на Дальнем Востоке это была повседневная пища, даже надоедливая.

В этих краях наша семья оказалась просто: был очередной партийный призыв, кажется, «35-тысячников». Отец мой, Иван Иванович Колесников, член партии с 1927 года, был вызван в ЦК ВКП(б). Ему и его товарищам зачитали постановление Политбюро и предложили получить документы, билеты на поезд и подарки на выбор: охотничью двустволку или патефон. Папа сказал: мол, я не охотник, а музыку люблю. Взял патефон и набор пластинок в небольшом чемоданчике.

В семейном архиве я нашел набросок автобиографии деда. На Дальний Восток его отправили в 1936 году, как он написал, «в счет „500“», то есть по призыву «500-тысячников». Как до этого его призвали в районные судьи «в счет „75“». Началось все с «25-тысячников», передовых адептов новой власти, которые согласно постановлению ноябрьского пленума 1929 года должны были отправиться в колхозы на организационно-хозяйственную работу.

Потом эти опыты по социальной вертикальной возгонке и горизонтальной мобильности повторялись. Надо сказать, опять же с точки зрения социальной мобильности и рекрутирования активных сторонников власти — исключительно эффективный метод. Стахановцы, хетагуровки, «25-, 75-, 100-тысячники» и прочее. Собственно, эти эксперименты повторялись и в эпоху целины, и при строительстве брежневского БАМа. Но как-то всё уже не очень работало, железную веру разъел усталый цинизм: «Приезжай ко мне на БАМ — я тебе на рельсах дам».

Патефон в то время произвел в стране музыкальную революцию. Мы заводили его всю долгую дорогу до Хабаровска, и

я навек запомнил тот незатейливый репертуар — Изабелла Юрьева, Лидия Русланова или просто духовой оркестр. С патефоном я не расставался все четыре года дальневосточной жизни и долго потом сожалел о потере его в Москве.

В Москву мы вернулись только летом 1940 года. Мама всё время рвалась в столицу, отец занимал нейтральную позицию. Он всегда был погружен в работу, его назначили председателем отделения Приморского краевого суда. Рядом располагался ИТЛ, одно из подразделений БАМлага. По городу двигались колонны заключенных, много было и расконвоированных, они работали на уборке улиц, водовозами и даже в торговле.

Мы подружились с нашим водовозом Султаном (так он себя называл). Это был милейший человек, добродушный, любящий детей. Странно было представить, что Султан — убийца, осужденный на 10 лет. Султан рассказывал, тяжело вздыхая: «Такая судьба у меня, без выхода, у нас, у горцев, такой обычай — кровная месть. А из всех кровников я один был старший мужчина и был обязан убить представителя рода, убившего моего старшего брата. И вот я здесь…»

Много таких историй из первых уст я услышал во время прогулок по городу, но в отличие от теперешнего времени никаких ЧП на улицах не было, никому в голову не приходило как-то опасаться заключенных, они были частью города, пострадавшие от закона или, скорее, от беззакония, к ним относились сочувственно, помогали, чем могли.

Жизнь была трудная, снабжение слабое и иногда нам удавалось покупать продукты в лагерном магазинчике, где хлеб был всегда, да и консервы, колбаса. Нередко мы, дети, и в кино ходили вместе с заключенными. Городской кинотеатр был далеко, в центре, да и с билетами туго, а тут кино под боком и билеты дешевле, чем в городе…

1937-й год пришел и к нам. Другом нашего дома бы Константин Георгиевич Опалько — старый большевик, зампредседателя суда, то есть заместитель моего отца. Почти каждый день Опалько бывал у нас дома. Но однажды он исчез. На мои вопросы папа ответил, что Опалько уехал в Москву, но лучше об этом никому не говорить. Через полгода Константин Георгиевич вернулся, пришел к нам, и я ужаснулся: это был совсем другой человек с каким-то почернелым лицом. Буквально как у негра.

Выяснилось, что он пережил жуткую трагедию. Его хотели арестовать. Накануне папу предупредили, что его заместитель — «враг народа» и будет ночью арестован. Папа, конечно, рассказал об этом своему старому другу, и вечерним поездом тот выехал в

Москву. Наутро отца стали допрашивать, таскали по инстанциям, он всё отрицал. Тем дело и кончилось. А Константин Иванович добрался до Москвы, попал на прием в ЦК, доложил о незаконных арестах и своих делах, и, как оказалось, весьма вовремя. Сталин как раз выступил на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б), где было сказано о «перегибах» в борьбе с врагами, отчего пострадали честные коммунисты. Так наш Опалько с триумфом вернулся обратно. Вот была радость! И главное, от того, что победила справедливость и отодвинулась угроза ареста папы. Ведь он рисковал жизнью.

Я совсем не знал деда — он умер незадолго до моего рождения. Остался только некролог в «Вечерней Москве». Но то, что он сделал, — повод им гордиться. Как в одной крестьянской башке это уживалось — преданность строю и деревенская, общинная хитрость в благородном деле спасения друга — и сложный, и простой вопрос. Ответ: а вот так! Как любили говорить, такое было время.

Я думаю о том, как дед на следующий день после исчезновения Опалько общался с компетентными органами. Что они у него спрашивали? В какой тональности? И главное — что он отвечал? Как прикидывался ничего не ведающим руководителем? Ведь это его непосредственный подчиненный и друг исчез. Ведь Ивана Ивановича могли арестовать вместо Опалько. Или на Дальнем Востоке, да еще на БАМлаге, где вольного с трудом можно было отличить от зэка, нравы органов парадоксальным образом были мягче? И потом спустя эти самые полгода стало же очевидно, что между Колесниковым и Опалько был сговор: явно они вместе придумали, чтобы Константин Иванович отправился в Москву, в ЦК партии, правду искать. Значит, органы поняли, что сговор был, что Колесников покрывал потенциального преступника, который, правда, оказался в свете борьбы с перегибами не преступником, а героем… Это же Шекспир…

Второй факт из дедовской частной биографии, поразивший меня, когда я нашел соответствующий документ — это уже было в 1960-е: Иван Иванович жил, ночевал — в простом бытовом смысле слова — на работе, чтобы свежеиспеченная семья — его дочь и ее муж — имели возможность проживать в квартире. Главный арбитр Госарбитража, на минуточку! А документ, собственно, касался просьбы об улучшении жилищных условий.

Еще осталось трогательное фото с моим братом Сережей: они заговорщически увлечены, что-то разыскивают в лесу. Дед — с его грубо вылепленным, с правильными пропорциями русским лицом и типично еврейский тощий мальчик лет 10–11 — внук.

Я всегда больше думал о другом деде, которого тоже не знал, поскольку он сгинул в Вожаеле, Коми АССР в 1946 году, куда его посадили в 1938-м — считалось, что я на него похож не только внешне, но и характером. От него, архитектора, осталось множество фотографий и материальных свидетельств. И еще огромный свод писем из Вожаеля.

Отношение к Сталину — в любой из двух семей, русской и еврейской, — нельзя, судя по всему, назвать положительным или отрицательным: как, например, относиться к погоде, которая свойственна тому месту, где ты живешь? Плохая погода, а что делать? Так и жили, разделяя «справедливость строя» и перегибы вождя. Привычный, в том числе и политически, уклад жизни и «эксцессы исполнителей». Наверное, отделяли Сталина как институциональную часть строя, «зонтичный бренд» системы, и Сталина как провокатора несправедливых арестов. Естественно, вслух или в письмах об этом никто не говорил и не писал. Конформизм был естественной средой жизни. А потом… Потом и сам отец, женившийся на еврейке, в разгар борьбы с космополитами, стал представителем когорты, которую называли «Дети XX съезда».

Глава 2. Ваня и Дуня

К тому времени отцу исполнилось 36 лет. За плечами остались служба в ЧОНе и коллективизация, когда молодой заведующий райфинотделом на Рязанщине, назначенный «уполномоченным», лихо скакал на коне, спасаясь от кулацких пуль. Некоторое время работал он председателем сельсовета в большом селе Ижевское (кстати, родина К.Э. Циолковского), где познакомился со своей будущей женой, моей матерью Евдокией Дмитриевной и где в апреле 1928 года я родился.

Мама была по тем временам весьма образованным человеком. Ее родители были мещанского сословия. Дочь обучили в Спасской гимназии. Старший брат мамы Александр после гимназии служил вольноопределяющимся на Первой мировой войне, за храбрость был произведен в офицеры. У бабушки хранился его портрет — я был на него очень похож, почти один к одному. Но в нашей семье об этом умалчивалось, ведь дядя мой дослужился аж до прапорщика, то есть «золотопогонника». Судьба его в дальнейшем сложилась трагически. Дядя Саша был ранен в живот, лежал в московском госпитале, спасти его не удалось. Остались лишь вечные слезы и молитвы моей бабушки Нади.

Вместе с младшим братом мамы Анатолием я жил у нее несколько лет. Родители в начале 1930-х перебрались в Москву, работали на труболитейном заводе, жили в общежитии, а меня отправили к бабушке в Спасск, где я начал ходить в первый советский детский сад. И я, должно быть, был в этом детском саду первым прогульщиком. Произошла какая-то ссора с воспитательницей или детьми, я уж не помню, но почему-то я убежал из сада через дырку в заборе и отправился плакать на Оку (к воде меня всегда тянуло), а вечером как ни в чем не бывало вернулся домой. На все расспросы бабушки отвечал, что был в садике. Труднее всего было отвечать на вопросы об обеде, что я ел, какой именно суп, какие котлеты? Но я, мобилизовав всё воображение, внятно отвечал и держался еще целых два дня, пока не сознался в своем грехе. Бабушка у меня была глубоко верующая и сумела мне внушить понятие о грехе, самым тяжким из которых был обман, и я трудно переживал свое «преступление». Покаялся — и освободился от тяжести.

Бабушка водила меня на службы в церковь, так что я с детства полюбил хоровую музыку. Церковный хор — это прелюдия классического хорового пения, приверженцем которого я остаюсь всю жизнь.

И в самом деле — да, пел в хоре. Будучи школьником и

студентом. А потом стал душой разных компаний — благодаря обволакивающему баритону и семиструнной — именно семиструнной! — гитаре.

Уже в 1980-е, когда у нашей семьи появились замечательные эстонские друзья, папа был в восторге от эстонских хоровых традиций и особенно от праздника песни. Мы сидели на Певческом поле недалеко от сцены на местах для почетных гостей — иерархически отец в то время был крупным чиновником, который курировал северо-западный регион. За спиной дышала огромная масса людей — больше, чем стадион. И это дыхание было другим: здесь не соревнование, а единение оказывалось основным мотивом. Конечно, мы тогда не знали, что песня *Mu isamaa on minu arm* («Моя отчизна»; музыка маэстро Густава Эрнесакса, человека-льва, который дирижировал этой огромной массой людей, а в первый раз делал это в 1938 году; слова классика эстонской литературы Лидии Койдулы) была в свое время запрещенной. И это несмотря на то, что сам Эрнесакс долгие десятилетия, и в буржуазной Эстонии до войны, и в Эстонской ССР после войны, оставался основной музыкальной фигурой республики.

В 1960 году на празднике песни исключенную начальством из программы *Mu isamaa* запели сами участники мероприятия. Противостоять стихии было невозможно — это пел народ. Народ в самом аутентичном, подлинном смысле слова. И тогда Эрнесакс решился: он поднялся к пульту и дирижировал полем, то есть народом. Руководство республики, надо отдать этим людям должное, скандала не устроило, а песня стала включаться в программы праздника. Сегодня, как и тогда, на этом празднике, *Laulupidu*, наряду с официальным гимном, который тоже называется *Mu isamaa*, но гораздо менее лиричен, песню Эрнесакса поет всё поле. И, как и тогда, со слезами на глазах. Не зря в 1988 году в Эстонии, до всех оранжевых и даже бархатных революций, началась именно поющая революция. Поразительный социокультурный феномен.

Страной в такие минуты управляет дирижер, а не президент или премьер-министр.

У меня была удивительная встреча с Эрнесаксом. Если это можно назвать встречей. Наверное, в году примерно 1984-м. Я совершал одинокую прогулку вдоль Балтийского моря между Лохусалу и Кейлой. Ветер, пахнувший водорослями, пригнувшиеся к песку растения, сосны, чуть отклонившиеся от моря, абсолютное безлюдье, подчеркнутое вереском, шиповником и валунами. И внезапно навстречу мне вышел сам маэстро — брел краем моря в шортах, с развевающимися длинными

волосами. Он был стар, величествен, как будущий памятник на Певческом поле, по которому теперь ползают дети, и погружен в себя — вряд ли в высокие думы, скорее, его заботили ноги, увязавшие в белом, тоже поющем, как и таллинское поле, песке… Это была мизансцена, достойная камеры Бергмана и Нюквиста, в том же природном ландшафте, что и на недалеко отсюда расположенных шведских островах.

На том берегу я всегда оживал, начинал дышать. Спустя годы радость узнавания балтийского побережья пробуждала внутри меня абсолютно щенячий восторг, а обжигающий холод моря возвращал силы.

Очень нравились мне просвирки и особенно причастие, ведь оно состояло из ложки малинового варенья со сладким кагором. Бабушка, прожив несколько лет в большевистском семействе, тайком окрестила меня в церкви, боясь, как бы младенец не погиб раньше времени. Мама, конечно, была посвящена в тайну, а отцу боялись сказать об этом «поповском безобразии». Случайно узнав об этом в каком-то разговоре, отец страшно разгневался. При его мирном характере он бушевал, грозил страшными карами малышу и перепугал маму и бабушку до слез. Только в 1938 году, будучи уже на Дальнем Востоке, мы обнаружили в уголке моей подушки зашитый медный крестик, память о бабушкином «преступлении». Ее уже не было на свете, а я жалею до сих пор, что крестик не сохранился. Это была бы память о бабушке, от которой, увы, ничего не осталось.

Папа, как и положено нормальному коммунисту (не тем, кто сегодня скрещивает — от слова «крест» — Сталина, русский национализм и коммунизм), был воинствующим атеистом. Мама — тоже. Это стало неотъемлемым свойством, больше того, ценностью нашей семьи. Не был религиозен и брат. Кроме архитектурно-исторических аллюзий меня ничто не связывает с религией. Политическое православие непременно сопровождается антисемитизмом, русским национализмом, нетерпимостью и готовностью к погромам — как такое можно принять? Впрочем, к собственно интимным религиозным чувствам политико-официозный извод православия не имеет вообще никакого отношения, но он стал его лицом.

В равной степени равнодушными меня и маму оставлял иудаизм, даже в его неофитской оболочке — а ведь, казалось бы, в 1990-е можно было увлечься пристальным разглядыванием своих корней — как дети рассматривают свои покусанные и покарябанные колени. Собственно, атеизм стал жизненным кредо и своего рода… верой. Держать свечу и креститься даже на панихидах мне неприятно — именно неприятно, поскольку

коробит собственная театральность и неестественность. Больше того, я всякий раз сомневаюсь, что покойники, которых я знал и не замечал в них ни малейшей склонности к религиозности, одобряли бы собственное отпевание. Но у них никто не спрашивает… А безразличие, безграмотность и нетерпимость священников и церковных служащих как нельзя лучше заметны во время отпеваний, которые в последние годы резко участились — стремительной чередой уходят родные, близкие, друзья, сослуживцы. Не говоря уже об их корыстолюбии — отпевание покойников оптом, по двое, конвейерным способом, стало уже нормой. Не скрывая равнодушия, заглядывают в бумажку, чтобы, не дай бог, не перепутать мертвецов. Дымят своим кадилом. Недвусмысленно требуют денег при прощании от каждого гостя ритуальной процедуры. А когда надо помочь заколотить гроб или дотаранить покойного обратно на улицу до перевозки — помощи не жди. Всё сами, со своими грыжами в позвоночнике.

Я думаю, что именно от бабушки, то есть по материнской линии, во мне зародилось творческое начало. Кроме сказок, пословиц, поговорок бабушка знала и часто пела и веселые, и печальные протяжные песни.

Мама, замученная трудом и тяжким бытом, очень редко, но всё же иногда напевала какие-то мелодии. Это были светлые минуты, чувствовалось ее праздничное настроение не только в чудесной мелодии без слов, но и в сиянии ее синих, истинно рязанских глаз.

Всю жизнь она как настоящая коммунистка отдала людям без остатка. Всегда была активной общественницей, членом разнообразных комиссий и советов, то есть работала задаром, да и когда на официальной работе была, то получала гроши, бедствовала. Гимназическое образование, учительская практика, которой она сама гордилась, пригодились на всю жизнь. На Дальнем Востоке мама работала корректором краевой газеты «Тихоокеанская звезда». Временами дома раздавался телефонный звонок: звонил ее муж, мой папа судья Иван Иванович и сконфуженно спрашивал: «Дуня, как пишется такое-то слово?» Это значило, что он составлял протокол и мучился, ведь его образование — 2 класса церковно-приходской школы и шестимесячные юридические курсы, а остальную грамоту осваивал самостоятельно и довольно успешно: в конце войны учился в Военно-юридической академии, а затем окончил Московскую юридическую школу.

Моя семья — смешение жанров. Что характерно для эпохи осевшей после социального взрыва пыли. Латышские евреи, архитектор родом из Яунгелавы (Фридрихштадта) с образованием

Варшавского императорского политеха и курсистка родом из Даугавпилса (Двинска) — родители моей мамы. Корректор с гимназическим образованием и судья, по происхождению крестьянин, по сути дела, с начальным образованием, которого советская власть вознесла по ступеням постреволюционной социальной мобильности — родители отца. Модернизация в собственном смысле слова — перекачка человеческих ресурсов из деревни в город — с одной стороны семьи. И — использование труда, в сущности, «буржуазного специалиста» — с другой.

Надо видеть, конечно, все эти фотографии организаций вроде «Тверьстроя», где дед-архитектор с бритым интеллигентным лицом и глазами, аутично направленными мимо фокуса камеры, стоит, смешавшись с группой товарищей — простые лица мастеровых, агрессивные физиономии прохиндеев, гордые лица полуначальников с портфелями под мышкой, как из рассказов Зощенко или из «гудковских» фельетонов Булгакова… Слава богу, Ивана Ивановича, в отличие от Давида Соломоновича, не посадили: у моего брата был хотя бы один дед, и судя по всему, очень добрый. На коллективных семейных фотографиях мальчик прижимается к дедушке…

Одна из самых притягательных — в буквальном смысле втягивающих в себя — фотографий имеет очень небольшой формат и какой-то почти охряный цвет. Иногда кажется, что она постановочная — в жанре портрета семьи художника. Или в стилистике *conversation piece* — жанре живописи XVIII века, переведенном на язык кино Лукино Висконти в «Семейном портрете в интерьере».

Иной раз мнится, что фигуры на этой фотографии движутся, как колышется на ней, отзываясь на ветер, занавеска.

Дачная терраса, отгороженная той самой занавеской от ветра и насекомых. Стол, покрытый белоснежной скатертью. На нем — ваза с роскошными, словно деликатно взрывающимися полевыми цветами, и самовар. Семь человек. Мамин старший брат, ему здесь лет 9-10. Он занят чем-то своим, мальчишеским. Какой-то родственник в белой рубашке, возможно, брат деда или бабушки, он протягивает ладонь к моей маме, капризничающей девочке лет пяти-шести. Она грустит, подперев подбородок одной рукой. Но другая рука то ли тянется к утешительному призу — обретенному мгновение назад яблоку, то ли колеблется — отдавать ли яблоко дяде. Рядом с ней с покровительственной озабоченностью по отношению к малому ребенку сидит женщина за сорок, которая появляется на многих семейных фотографиях. Она похожа на бабушку, возможно, ее сестра — из тех, что неизвестны мне, что умерли, уехали или сгинули еще до 1960-х, а то и до войны. За

ней — бабушка. Она занята самоваром. Концы черных локонов завиваются кверху, по моде тех лет. Ведь это год 1933-й или максимум 1934-й. Над столом стоит худощавая женщина крестьянского вида — похожа на прислугу, хотя не того уровня был доход семейства. С противоположной стороны от самовара сидит дедушка Давид Соломонович, которого бабушка звала Дэвиком, совершенно лысый мужчина под сорок; он размешивает сахар в стакане с подстаканником. Едва ли на подстаканнике изображен товарищ Сталин, а вот кремлевская башня — вполне.

Фотография пахнет — июнем, травой, цветами. Она звучит — пчелами и птицами, тихим многоголосым разговором.

Исчезли все. Устьвымлаг, Курская дуга, быстрая смерть от сердечного приступа, онкологическое отделение больницы, в котором мне надо было остаться на ночь, несмотря на то что мама, тяжело дыша, нетерпеливо гнала меня прочь, а ближайшей по друге позвонила и сказала, что сегодня умрет. А я спустя пятнадцать лет хоронил эту ее подругу; нос скончавшейся 90-летней женщины так заострился, что был виден сквозь наброшенное на лицо полотно.

Огромная жизнь провалилась в никуда. *Conversation piece* остался висеть у меня на стене. И пахнуть июнем, травой, цветами. Звучать пчелами, шелестом листьев и необязательными разговорами…

А фотография маминой подруги, которой она звонила перед кончиной, висит на той же стене — молодая армянка неумело стоит на лыжах, вызывающе-иронично смотрит в объектив и держит во рту сигарету, которую наконец зажжет, когда выпростает руки из лыжных палок. В последние годы своей долгой жизни она курила у себя на кухне по половине сигареты. И всегда это была «Ява». А я слушал ее длинные рассказы, которые, чем старше она становилась, тем чаще повторялись. О том, как отец, актер Ереванского драматического театра, узнав, что его собираются арестовать, немедленно уехал в Москву и там затерялся — совсем как Опалько, друг дедушки Ивана Ивановича. О том, как ей родители запрещали слишком много читать, а она всё равно читала — с фонариком под одеялом. О том, как тяжело умирал от рака ее муж — известнейший в Москве врач, из ливанских армян, чья семья не вовремя репатриировалась на историческую родину, о том, как десятилетия подряд они отдыхали у одной и той же хозяйки в Эстонии… Много лет я звонил ей и навещал ее, с годами дарить уже было нечего, потому что она слепла, а дарил я ей в основном книги. Даже «Эхо Москвы» ей уже надоедало, а телевизор она уже много лет не включала. Напротив ее девятиэтажки сносили всё, что можно, и

лепили гигантские дома, и она боялась, что ее начнут выселять — в почти 90 лет это была бы неординарная акция… И до последнего она вслепую варила мне кофе, выставляла любимый мною вафельный торт, дымила в форточку. Полтора десятилетия длился этот ритуал посещений, разговоров и угасания. И теперь мне его очень не хватает. Как и запаха «Явы» на кухне беляевской девятиэтажки 1960-х.

На Дальний Восток я приехал еще октябренком и очень завидовал пионерам, которые под звуки горна и барабана торжественно шагали по улицам нашего маленького городка, а я плелся за ними с большим ключом от гостиничного номера на шее: родители были на работе и оставляли меня одного, вешая на шею цепочку с ключом, который я всегда боялся потерять.

Впрочем, ключ на шее я носил и в Москве. Мы жили в общежитии Московского труболитейного завода. Это был длиннющий двухэтажный барак, коридор, похожий на улицу, по обе стороны которого располагались 10-12-метровые комнаты — это называлось «квартиры». Ребята носились по коридору на самокатах и велосипедах, играли в мяч. А в конце коридора — кухня с «титаном» — горячая вода растаскивалась по комнатам круглосуточно. Словом, как пел Высоцкий, «на 38 комнаток всего одна уборная». Но это никого не смущало. Жили дружной коммуной — никто никому не завидовал, не вредничал. Дети дружили, по сути, как говорили рабочие, это были общие дети. Возились во всех комнатах на полу — не разберешь, где свои, а где чужие. Было весело, несмотря на суровый быт.

Завод своими корпусами выходил на подъездные пути к Павелецкому вокзалу. Ребятня, конечно, целыми днями пропадала на заводе, особенно всех привлекала литейка. Яркие огненные ручьи расплавленного чугуна текли с шипеньем в формы и (о, чудо!) превращались в огромные трубы, которые, остывая, меняли свой цвет из алого в малиновый, а затем свинцово-серый. Но самое притягательное место для нас, ребят, конечно, свалка на железнодорожных путях. Чего там только не было… Очень нужные для наших самодельных самокатов подшипники, винтики, гайки, а иногда на нашу радость вдруг из вагонов высыпалась сверкающая гора круглых дамских зеркал — вот это был праздник! Зеркальца, особенно летом, были нужны для «зайчиков», а зимой — для игр девочек. Нередко забегали мы в заводскую столовую, где можно было с любого стола получить кружку божественного напитка — компота или киселя.

На несколько месяцев для меня началась сытая жизнь: маму назначили заведующей детсадом. В детсад я не ходил, но регулярно заглядывал в подсобку и на кухню, где получал от

толстой поварихи стакан киселя или тарелку любимых макарон по-флотски. Это блюдо я люблю до сих пор.

Идеализация жути, восприятие кошмара как нормы, романтизация трудностей и лишений — часть советского мифа. Воспитание чувств, главное из которых — лояльность. Нелегко сохранить лояльность и идеалистические представления всю жизнь. Некоторым удавалось. Один из таких людей — мой отец.

Есть еще одна причина его несгибаемой веры. Между преданностью системе и нравственностью он ставил знак равенства. Точнее, так: преданность системе и вытекающие из этого ригористические правила жизни были частью внутреннего нравственного кодекса. Можно, конечно, говорить о том, что этот кодекс был внешний, навязанный, искусственно сформулированный, но для отца он был именно внутренним, органическим, естественным.

…А довоенное детство и военные отрочество и юность все-таки были голодноватыми. И отец, будучи старшеклассником и студентом, а потом уже и взрослым человеком, страдал от язвы желудка.

Пионерская жизнь моя началась на Дальнем Востоке. В школе была сильная организация. Летом выезжали в пионерские лагеря. Жили в палатках, ходили в походы, работали на колхозных полях, проводили веселые праздники. До сих пор помню торжественное шествие на городском стадионе и смеющееся, счастливое лицо моей мамы. Она была старшей пионервожатой, в светлом платье и с алым пионерским галстуком. Кстати, тогда мы галстуки не завязывали, а укрепляли особым зажимом — очень удобно и легко для малышей.

На голову надевали «испанки» — вроде нынешней пилотки, только с кисточкой впереди. Тогда все мы мечтали поехать в Испанию — сражаться против фашистов. У нас дома висела большая карта, где флажками на булавках я обозначал линию фронта — «наших» и «фашистов».

Две важнейших пропагандистских составляющих довоенного Сталина: арктический миф и испанский миф. То есть надо, конечно, разделять действительное покорение Арктики, героическое — «хемингуэевское» — участие в гражданской войне в Испании и мифологию, строившуюся на этой благодатной и благодарной почве.

«Шлем привет, товарищ Сталин, дома будем через год» — строки из одной малоизвестной версии исполнявшейся Утесовым «Лейся, песни». С одной стороны, один из способов спасения от репрессий — отъезд в арктическую экспедицию. С другой стороны, подлинный героизм: любимой книгой моей мамы был

роман Каверина «Два капитана» — с ним она смогла познакомиться в 13–14 лет. С третьей стороны, миф, словно замороженный в куске льда, оказался невероятно живучим и соответствующим «чувству снега» высшего начальства. Как только обостряется что-то арктическое и Россия то начинает претендовать на арктическую нефть, то вводит арктические войска, то учреждает арктическую ФСБ — можно делать четкий вывод: или внутри страны какие-то проблемы, или выборы на носу. Начиная с 1934-го этот миф так и эксплуатировали: он включался, как рокочущий дизельный мотор, когда нужно было сделать так, чтобы чего-то не было слышно: репрессий, голосов против, нытья сомневающихся и жалоб социально ущемленных.

Испанский миф «голосовал» за справедливость строя. И романтики было не меньше — страна кастаньет и пилоток, полная героических летчиков и писателей, куда отправлялись русские героические же летчики и писатели, в том числе Илья Эренбург и Михаил Кольцов. Испанский миф оказался не таким долговременным, но его проэксплуатировали, когда понадобилось найти в прошлом героя: великий хоккеист Валерий Харламов был наполовину испанцем, сыном девочки-эмигрантки по имени Бегония, и старый миф пригодился при сколачивании — довольно грубом, но броском — новой патриотической легенды, «Легенды № 17».

В нашей домашней библиотеке есть крошечный карманный испанско-русский словарь «для чтения легкого испанского текста», скомпонованный на основе словарей довоенных, но вышедший уже после войны, в 1947-м. Видимо, поступив в институт Мориса Тореза «на французский», мама занималась еще и испанским. Или просто кто-то в семье вспомнил о романтических довоенных временах — прошло-то, вообще говоря, всего десятилетие. Правда, какое…

Испания стала последней зацепкой, позволявшей хотя бы как-то агитировать за справедливость строя. Для кого-то это была возможность уехать из сталинской России. Проявить себя героически на справедливой войне. Иногда под красивым псевдонимом — для самого себя — начать новую жизнь. Причем это касалось не только красных, но и белых. В «Испанском дневнике» Михаила Кольцова появляется персонаж Хулио Хименес Орге — эмигрант Владимир Константинович Глиноедский.

Сталин расправлялся с героями Испании, вернувшимися в СССР — слишком много харизмы, да и лишнего насмотрелись на самом западе Европы. А для кого-то Испания хотя бы отчасти стала охранной грамотой, как для Эренбурга, единственного

европейца в синклите советских деятелей искусств, именем которого назвали центурию республиканцев.

Оттуда же, из Испании, та самая «пятая колонна», обретшая вторую, точнее, третью жизнь в современном пропагандистском дискурсе. Из «Испанского дневника» Кольцова: «Никто не хочет видеть морды иностранных легионеров, дуэльные шрамы германских наци на мадридской улице. Никто, кроме подпольных фашистов, не хочет видеть генерала Франко в Национальном дворце… 1 ноября. Генерал Варела объявил, что фашистская армия наступает на Мадрид пятью колоннами: по эстремадурской дороге, по толедской через Авилу (Гвадаррама) и через Сигуэнсу (Гвадалахара); пятая колонна — это фашистское подполье самой столицы. Он приглашает иностранных корреспондентов принять участие в торжественном въезде в покоренный Мадрид… В мадридских тюрьмах заключено восемь тысяч фашистов, из них три тысячи кадровых и запасных офицеров. При вступлении противника или при мятеже в городе это готовая, квалифицированная офицерская колонна».

По другой версии слова о «пятой колонне» произнес генерал Мола: «Седьмого ноября я выпью кофе на Гран Виа… Четыре колонны со мной, пятая — в Мадриде».

Пол Престон, биограф Франко, писал: «Наступление на столицу и хвастливое заявление Молы по радио о том, что близится захват ее „пятой колонной“ — тайными сторонниками националистов — вызвали в Мадриде панику. В качестве ответных мер последовали жестокие расправы над правыми — как отдельными диверсантами, так и большими группами заключенных мадридских тюрем… Среди жертв массовой расправы над националистами оказался один из потенциальных соперников Франко в борьбе за политическое лидерство — Хосе Антонио Примо де Ривера».

А вот Эренбург о главном — о том, что, собственно, так привлекало в Испании: «Семь месяцев спустя началась Вторая мировая война, было много героизма, и в итоге фашизм разбили; но в новой эпохе уже не было места для копья и старомодного шлема, с которыми Рыцарь Печального Образа пытался отстоять человеческое достоинство».

Если бы Испании не было, Сталину стоило бы ее придумать. Она облагораживала его режим. Превращала в глазах многих из тоталитарного в «просто левый».

Потом, на новом вираже советской истории, Испания вернулась — уже не Кольцовым и Эренбургом, а Хемингуэем. Хотя «Годы. Люди. Жизнь» Эренбурга тоже добавили немного Испании в мифологию 1960-х. Они подходили друг другу —

романтическая республиканская Испания и советские 1960-е.

К тому же появилась еще одна революционная испаноязычная субстанция — Куба. И она была нужна Хрущеву так же, как Сталину — Испания.

«Слышишь чеканный шаг — это идут барбудос», — громыхал над страной мощный голос Муслима Магомаева, исполнявшего песню 1962 года Пахмутовой — Добронравова. Этих самых барбудос на куске ватмана рисовал мой брат. Духовная скрепа шестидесятых — вечнозеленый, пахнущий карибским прибоем, обрывками газеты *Granma*, мужским революционным тропическо-сигарным братством и не менее революционным сексом, советский кубинский миф.

Впрочем, наряду с восторгом, как всегда в таких историях, возникал и скепсис, например, настроения «хватит кормить Кубу». Прагматически настроенные граждане СССР на мотив «идущих барбудос» сочинили прекрасную песенку: «Куба, отдай наш хлеб! Куба, возьми свой сахар! Нам надоел твой косматый Фидель. Куба, иди ты на…!»

Но Никита эксплуатировал остров Кубу, как Владимир Путин — полуостров Крым. На всех фотографиях с Кастро Никита Сергеевич выглядит абсолютно счастливым, так и льнет к прокуренной гимнастерке команданте. Фидель возвращал забронзовевший СССР к революционным истокам, где вместо галстука — гимнастерка, вместо гладко выбритых стариковских брылей — черные джунгли бороды. Оттого его с таким удовольствием лобзал — еще до Хонеккера — Леонид Ильич. И питался соками революции, черпая в ней обоснование «правоты нашего строя».

Кастро нужен был Советам в качестве источника романтики. Хотя, конечно, Фидель отвязывался и испытывал терпение своих покровителей. Критиковал их за то, что не помогли арабам в Шестидневной войне, выражал симпатии китайцам, экспортировал без спроса революцию.

Мало нам было кризиса 1962 года, когда сравнение из стихов Добронравова «небо над ними как огненный стяг» чуть не стало ядерной явью, потом едва не состоялся второй кризис осенью 1970-го, а в 1975-м Куба перебросила свои отряды через океан в революционную Анголу. Причем за счет СССР, но без его разрешения: Фидель кутил, используя безлимитную «корпоративную» карточку и неисчерпаемый кредит доверия.

Ну а потом настало время, когда миф обветшал и выветрился. Было немного жаль романтической «Гуантанамеры» (которая, правда, лично мне надоела еще с детсадовских времен, потому что старший брат запирался в нашей с ним общей комнате с

подругой, бесконечно крутя на проигрывателе эту «девушку из Гуантанамо») и сигарет «Партагас» со сладкой папиросной бумагой.

С сентября по май я занимался в авиакружке ДТС (детской технической станции). В городе была целая сеть таких детских технических станций. Мы строили модели сначала планеров, а потом самолетов с резиновыми, затем и бензиновыми моторчиками. Кроме того, сдавали нормы ПВХО, БГТО — противовоздушной и противохимической обороны и «Будь готов к труду и обороне», а также ГСО — «Готов к санитарной обороне». На груди у меня сверкали всегда по 2–3 значка, были, по-моему, и соответствующие членские билеты. Да, еще был значок МОПР — международной организации помощи борцам революции, томящимся в тюрьмах.

Кто бы помог некоторым другим революционерам и нереволюционерам, томящимся в других тюрьмах… Сознание, конечно, милитаризовывалось. Профессиональные технические навыки — тоже. И очень вовремя — как раз в том возрасте, когда ребенок охотно играет в войну. Ну и вообще институт «членства» — хороший способ вовлечения в общее дело и воспитания лояльности. Выращивание ощущения причастности. А заодно, как через тот же МОПР, государство могло содрать с гражданина еще один налог. Как бы добровольный.

В нашем архиве сохранились во множестве корочки, удостоверения и членские билеты всех членов семьи.

Награждена значком «Отличник народного просвещения». Государственный центральный театр юного зрителя — бригада художников. Всесоюзное физкультурно-спортивное ордена Ленина общество «Динамо» (взносы, марки). Всесоюзное добровольное спортивное ордена Ленина общество «Спартак». Читательский билет ВГБИЛ — еще на улице Разина, 12 («Берегите билет и контрольный листок. Потеря билета или листка лишает права пользования библиотекой на месяц»). Добровольное общество содействия озеленения (ошибка в названии, грамотность по-советски?) города Москвы. Всесоюзное добровольное общество любителей книги. Ученический билет, действителен с 20 октября 1937-го по 1 сентября 1938-го. Международная организация помощи борцам революции (Секция СССР) — МОПР, за 1939 год. На марке написано: «МОПР. Шефский квартальный гривенник». Билет юного значкиста «Готов к ПВХО». Удостоверение коллективного страхования жизни. Билет научного студенческого общества. Значок «Турист СССР».

А еще — облигации Госзайма. Бабушка чуть ли не с лупой прочесывала глазами строки таблицы, кажется, в «Вечерке»,

единственной газете, помимо «Советского спорта», которую мы выписывали, и сопоставляла цифры государственного обмана с цифрами, напечатанными в газетной таблице. Кажется, мы никогда ничего не выигрывали. Или почти никогда. Еврейское счастье, что поделаешь.

Всё это — материальная память. Важно сохранить не только фотографии, но и записи, документы, даже самые малозначащие. Например, квитанцию об уплате госпошлины в связи с бракосочетанием дедушки и бабушки в 1920 году. Свидетельства того, что человек — был. Это необходимо, особенно в эпоху тотальных смертей — от болезней, в лагерях, на войне. А как еще оставить что-то от человека? Поэтому бабушка бережно заворачивала в бумажку отрезанные волосики умершей двухлетней дочери, старшей сестры мамы: «Стефочка после смерти». Поэтому перед уходом сына, старшего брата мамы, на фронт в 1942 году она проделала ту же процедуру. И это всё, что осталось от Трауба Эдуарда Давидовича. Не считая нескольких фото, альбомов, заполненных рисунками, причем чрезвычайно талантливыми, подростково-юношеских записей и школьных дневников.

С этим мальчиком, погибшим на фронте, связано одно из удивительных совпадений. Много лет я общался с Леонидом Исидоровичем Лопатниковым, известным экономистом, автором «Экономико-математического словаря». Он прожил больше 90 лет. Однажды его статью мне передал Егор Гайдар с напутствием: «Он прожил очень достойную жизнь». Я почему-то запомнил саму формулу, она не показалась мне пустой и церемониальной… Так вот, когда-то в жизни нашей семьи неожиданно возник человек, который был одноклассником моего дяди, соответственно, старшим товарищем мамы. На фотографии, которую он принес, подростки, в том числе Эдуард Трауб, готовили стенгазету. Много лет это фото лежало в моем архиве, иногда я разглядывал его. И лишь сравнительно недавно сопоставил фамилию Лопатников из аккуратной подписи к фотографии с профилем мальчика, который показался мне знакомым. Однажды на каком-то мероприятии я спросил у Леонида Исидоровича, одиноко стоявшего в холле — грудь в боевых орденах, — знал ли он Эдуарда Трауба и его сестру Адель, моих дядю и маму. Старик расплакался: знал. Мягко говоря, знал. А я, журналист, публикатор некоторых его статей и соратник по либеральному лагерю, оказался племянником его школьного друга. Что, собственно, выяснилось совершенно случайно.

А с квитанцией о браке дедушки и бабушки связана другая история. Однажды мне понадобилось, поскольку я остался самым

старшим мужчиной в семейном клане, обрести права на бабушкину нишу в колумбарии одного из старейших московских кладбищ. А надо сказать, что моя еврейская бабушка всегда поддерживала идеальный порядок во всем, в том числе в документах. У меня на руках была папка размером с том уголовного дела, заведенного на коррупционера, — вся жизнь на ладони с генеалогическим древом. Особенно я гордился той самой квитанцией размером с ладонь новорожденного — почти сто лет бумажке, не баран начихал… И шел на кладбище, как на праздник добра и справедливости. Не тут-то было!

Я, конечно, доказывал каменному лицу в окошке, что всего лишь хочу заплатить смиренному кладбищу полагающиеся ему деньги за хранение бабушкиного праха, что совершенно не собираюсь, как в известном советском анекдоте, «ложиться завтра» в обход существующих правил и именно в эту нишу, а не в какую-нибудь другую. Но лицо не могло поверить в то, что в конце XIX века люди могли родиться с одним именем-отчеством, а потом жить с советским паспортом с другим. Ну, например, родился человек как Давид Зальманович, а в совпаспорте значился как Давид Соломонович, а Либа Гершеновна вдруг превратилась в Любовь Герасимовну и под таким именем оказалась в нише. Ну просто Троцкий-Бронштейн какой-то! Подозрительно…

Лекция по российской и советской истории, обращенная в окошечко, закончилась в вышестоящей организации, где я себя чувствовал тварью дрожащей на госэкзамене то ли по спиритизму, то ли по научному коммунизму. И был с усталым вздохом отпущен с миром, промучился недели две, не меньше, в томительном ожидании решения, каковое получил по почте — положительное. И уже тогда смог со спокойным сердцем оплатить вечный покой собственной бабушки.

Любимым героем дальневосточных пионеров был Василий Константинович Блюхер, и первым страшным ударом — эхом сталинских репрессий — стало указание нашего учителя истории вырезать или зачеркнуть портрет маршала в учебнике по истории 4 класса. Интересно, что даже мы, младшие, чувствовали неправоту этого дела. Я знаю, что никто из моих одноклассников не тронул портрета Блюхера. Пришло время, и правда о легендарном герое восторжествовала.

Ну вот — образец массового диссидентства: детского, но при этом в духе старых большевиков. Значит, уже тогда школьники понимали: не всё, что навязывают им в школе, — правда. И надо разделять собственно правду и правду идеологическую. Прямо как сейчас, когда в школах детей уверяют, что Крым — наш. По

разнарядке сверху. Школьники слушают и не возражают. Но по своему сыну знаю, что дети разделяют правду и школьный официоз. И, оставаясь при своем мнении или по крайней мере скептической позиции, прекрасно понимают, что публично возражать учителю не стоит. Да и учитель того не стоит…

Перед войной мы по настоянию мамы вернулись в Москву. Врачи выдали справку, что по состоянию здоровья мне противопоказан климат Дальнего Востока: что-то с сердцем. Я-то не особенно чувствовал недомогание, но мама так рвалась в столицу, что отец уступил, хотя и не стремился туда. И действительно, надо было начинать работу на новом месте, как-то устраиваться с жильем, а в Москве это было практически невозможно. Приютили нас родственники — двоюродные братья и сестры папы — Шинкаревы, которые сами жили в бывшей конюшне, кое-как переделанной под жилье, у завода «Каучук».

Началась новая жизнь в большой семье, в которой было трое сыновей, все старше меня. Быт заводской семьи не был в новинку, но вот московская школа трудно давалась: ребята здесь были другие, как мне показалось, какие-то свирепые, драчливые, и что особенно неприятно — попрошайки, все время хоть что-нибудь пытались выпросить — резинку, карандаш, 20 копеек или даже кусок хлеба, взятый на завтрак. Это было так противно, что я придумал такой выход: брал с собой в школу черный хлеб, на который никто не покушался. Из круглого отличника в провинции я постепенно превратился в середнячка, да и то жил на старом багаже знаний — как выяснилось, преподавание на Дальнем Востоке было более квалифицированным и основательным. Через год семья вернулась в общежитие литейного завода, папа и мама восстановились на прежней работе, всё вроде наладилось. Но тут наступила новая эра, началась война.

Война, конечно, не была полной неожиданностью для нас, даже для детей. Когда мы жили на границе, это было тем более понятно, но и в Москве мы чувствовали приближение грозных событий: с успехом прошел фильм-предупреждение «Если завтра война», газеты и радио каждый день призывали к бдительности и готовности отбить агрессию, а потом вдруг объявили о «внезапном» нападении. Конечно, общее удивление возникло, когда наши войска стали терпеть поражение в Финской войне, но затем Красная армия вошла в Прибалтику, затем в Польшу и вроде бы всё стабилизировалось. Вера в то, что война будет победоносной, скорой и обязательно на чужой территории, сохранялась в народе. Вплоть до того, что 22 июня 1941 года толпы на улицах были отнюдь не мрачные, испуганные, а

наоборот, довольно оживленные и даже веселые: мол, наконец-то мы им, фашистам, покажем!..

Это весьма характерно — война должна была быть скорой, победоносной и обязательно на чужой территории. Эта идеологема — в песне Василия Лебедева-Кумача и братьев Покрасс «Если завтра война» из одноименного кинофильма 1938 года (Василий Иванович вообще мастерски мог сжать до максимально внятного стихотворения любую пропагандистскую мысль): «Мы войны не хотим, но себя защитим, / Оборону крепим мы недаром, / И на вражьей земле мы врага разгромим / Малой кровью, могучим ударом!» И далее — персонификация: «В целом мире нигде нету силы такой, / Чтобы нашу страну сокрушила, — / С нами Сталин родной, и железной рукой / Нас к победе ведет Ворошилов!»

И вот эта радость в московской толпе — тоже крайне нестандартное наблюдение, оставшееся в памяти папы, которому тогда было 13 лет. Нечто похожее о 22 июня писал в «Разных днях войны» Константин Симонов: «Шел по городу. Люди спешили, но, в общем, всё было внешне спокойно. Был митинг в Союзе писателей… здесь, во дворе, договаривались между собой, чтоб ехать на фронт вместе, не разъединяться. Впоследствии, конечно, все те разговоры оказались наивными, и разъехались мы не туда и не так, как думали… Шинель была хорошо пригнана, ремни скрипели, и мне казалось, что вот таким я всегда и буду. Не знаю, как другие, а я, несмотря на Халхин-Гол, в эти первые два дня настоящей войны был наивен, как мальчишка».

Родрик Брейтвейт в фундаментальном труде «Москва 1941. Город и его люди на войне» писал: «Когда новость широко распространилась, она вызвала волну негодования предательством немцев, взрыв горячих патриотических чувств и уверенность, что Красная армия с ее традициями и современным оружием быстро выдворит немцев». Борис Пастернак утешал свою жену Зинаиду Николаевну, что «война продлится недолго и мы скоро победим». По воспоминаниям Зинаиды Пастернак, «город сразу изменился: магазины были пусты, появились длинные очереди за хлебом, всё остальное исчезло и мне ничего не удалось купить».

Да, всё совпадает: шапкозакидательские настроения, порожденные сталинской пропагандой, некоторое удивление «предательством» немцев (договорились же вроде обо всём!) — вот и вся, в сущности, подготовка к войне.

А потом начались кошмар и неразбериха первых месяцев Великой Отечественной с эпизодами осенней панической эвакуации, когда тот же Лебедев-Кумач, сорвавшись, швырялся на

вокзале своими орденами в портрет Сталина.

Кошмара и неразберихи, впрочем, не было, например, в очерках Ильи Эренбурга — 28 июля 1941 года в статье о летчиках он писал: «Мы возвращаемся в Москву. Дымят трубы. Несутся автобусы. Заливают асфальтом воронки бомб. Москва живет трудной, но высокой жизнью».

Отец упоминает и удивление поражениям в Финской войне. Точнее, тому, что она пошла не гладко. Ведь поначалу говорилось, что зимняя кампания займет две недели (тоже традиция, унаследованная постсоветской Россией, недооценивавшей время, в течение которого можно «взять Грозный», а потом сообщившей, что способна взять Киев как раз за те самые две недели).

Опыт Финской войны никого не отрезвил. Потери были существенными, но вряд ли кто-то о них знал. Сталин строил буферы, пояс безопасности, из целых государств. Одним из буферов должна была стать Финляндия. Война была явно несправедливой, но проблем с оправданием не существовало. Собственно, как и в последующей истории России. А в то время, после того как финны не отдали Сталину стратегически важные острова и отдельные анклавы континентальной части страны, Молотов сообщил об обстреле с финской территории. Это было прямое вранье. И началась Зимняя война, идеологию которой четко сформулировал А. Д'Актиль, он же Анатолий Френкель, сочинивший слова для песни «Принимай нас, Суоми-красавица»: «Много лжи в эти годы наверчено, / Чтоб запутать финляндский народ. / Раскрывайте ж теперь нам доверчиво / Половинки широких ворот! / Ни шутам, ни писакам юродивым / Больше ваших сердец не смутить. / Отнимали не раз вашу родину — / Мы приходим ее возвратить». А потом пришла очередь формирования «правительства Куусинена», с которым СССР заключил договор. Для него, правда, никак не могли найти нужного количества финнов-коммунистов (было слишком много репрессированных) — обнаруживались всё больше карелы и ингерманландцы.

В сегодняшнем учебнике для выпускного 11-го класса средней школы про причины Зимней войны напишут: Сталин предлагал финнам вдвое большую территорию в обмен на стратегически важные клочки земли. Не захотели по-хорошему — получилось по-плохому: «…стратегическая цель, поставленная руководством страны, была достигнута — Финляндия… была вынуждена… пойти на обмен территориями, предлагавшийся ранее советской стороной».

После войны Сталину и Жданову удалось

«финляндизировать», то есть сделать зависимой, всю Восточную Европу, но только не саму Финляндию. Жданов обосновался в нынешнем отеле «Торни» — сейчас это по-скандинавски скромная, но дизайнерски изысканная гостиница — и пытался руководить соседней страной как протекторатом. Но с 1948 года СССР отказался от попыток превратить Финляндию в сателлита или буфер — просто ничего не получалось.

Одно из самых загадочных, и по второму своему слою антисталинских, стихотворений Александра Твардовского, написано в 1943 году о Финской войне. С чего она вдруг всплыла у него в памяти? Это стихи из «записной потертой книжки» о бессмысленности смерти молоденького русского солдата в финскую кампанию. Бессмысленности тем более очевидной на фоне большой — и уже справедливой — войны: «Среди большой войны жестокой, / С чего — ума не приложу, / Мне жалко той судьбы далекой, / Как будто мертвый, одинокий, / Как будто это я лежу, / Примерзший, маленький, убитый / На той войне незнаменитой, / Забытый, маленький, лежу». Этот Твардовский «рифмуется» с Симоновым, у которого есть стихотворение 1941 года на грани фола с характерной первой строкой «Словно смотришь в бинокль перевернутый» — в аутентичном виде он стал его публиковать только через два года после смерти Сталина, а до этого выдавал за любовную лирику: «Мы, пройдя через кровь и страдания, / Снова к прошлому взглядом приблизимся, / Но на этом далеком свидании / До былой слепоты не унизимся. / Слишком много друзей не докличется / Повидавшее смерть поколение, / И обратно не всё увеличится / В нашем горем испытанном зрении».

И началось… Первые бомбежки Москвы, светомаскировка, дежурства на крыше с противогазом на плече, воздушные тревоги, паника в снабжении. За один день, 23 июня, скупили все продукты, включая ржавую селедку, которую никто раньше не брал. Это поначалу воспринималось юмористически, но с каждым днем обстановка ухудшалась. Отец готовился на фронт, я клянчил, умолял его взять меня с собой. Но меня с четырехлетней сестренкой Ёлочкой отправили к бабушке и дедушке в Рязанскую область. Как я уже писал — навстречу наступавшим фашистам…

В октябре красноармейцы покинули нашу деревню и серым утром вошли серо-зеленые солдаты, которые врывались в дома с криками: «Матка, яйки, млеко!» и, не дождавшись ответа, хватали что ни попадя из шкафов и со стола, выбегали во двор, гонялись за курами, пристреливали поросят, собак и, гогоча, удалялись. Такова была новая цивилизация, «культура» Запада. Особенно поразила нас, детей, бесцеремонность солдат, которые, не

обращая внимания на нас, «туземцев», прямо посреди улицы садились на корточки и оправлялись.

Одичание солдат во время войны. Банальность зла. До сих пор непонятна эта механика, как обычные, даже не заряженные идеологией люди превращаются в бог знает кого — причем стремительно. Да, это классика психологии толпы, точнее, стада. Да, привыкают ко всему, в том числе и чудовищному окопному образу жизни. Да, привыкнуть можно даже и к убийствам — повторяемость действий, тренировка своего рода, рутина. Но от этого превращение, происходящее с человеком на войне или в лагере, превращение, которое эффектнее и эффективнее того, что произошло с Грегором Замзой, не становится менее загадочным.

Ханна Арендт в «Ответственности и суждении»: «…давайте вспомним о тех убийцах Третьего рейха, кто не только был образцовым семьянином, но и любил проводить досуг, читая Гельдерлина и слушая Баха, тем самым доказывая (как будто прежде был недостаток в таких доказательствах), что из интеллектуалов преступников сделать так же легко, как из всех остальных».

Есть такой фильм — как раз про переход в озверевшее состояние и о дороге обратно. «Мандарины» эстонско-грузинского производства (уже здесь — российская «ось зла» или, если угодно, «шампур зла»), режиссер — Заза Урушадзе. Диск с этим фильмом коллега привез из Таллина. В России он шансов на прокат не имел и не имеет по той причине, что полностью расходится с нынешними представлениями российской власти о добре и зле и не соответствует духу войны и победы, охватившему абсолютное большинство населения. Он о том, что война — это не победа, война — это всегда плохо. Она упрощает человеческие отношения, низводя их до взгляда через прицел автомата. Она примитивизирует чувства и искажает восприятие действительности. И еще у всех своя правда, никому ничего доказать нельзя. Но эта правда не нужна, когда человек в человеке перестает видеть врага.

1992 год, начало грузино-абхазской войны. Эстонское село в Абхазии (эстонцы там жили с конца XIX века) опустело — все уехали на историческую родину, кроме старика Иво (его блистательно играет Лембит Ульфсак, в советское время — актер преимущественно детского кино, чудесный, хиппиобразный мистер Эй в «Мэри Поппинс, до свидания!» — это он) и крестьянина средних лет Маркуса. Они заняты пропадающим из-за войны урожаем мандаринов, который хотя бы частично собираются продать. На вырученные деньги Маркус отправится в Эстонию, Иво никуда не поедет, упорствуя в своем необъяснимом

желании не покидать дом. Иво и Маркус спасают оставшихся в живых после перестрелки врагов — грузина и наемника-чеченца, воюющего на абхазской стороне. В доме Иво, их спасителя, враги Нико и Ахмед друг друга убить не могут, хотя, разумеется, хотели бы.

И вот важный момент. По мере того как грузин и чеченец оправляются от ран, к ним возвращаются нормальные представления о человеческом общежитии. Это уже не грубые животные с автоматами, для которых цена человеческой жизни — ноль, а вполне содержательные люди с биографией. Но для того, чтобы воюющие друг с другом снова стали такими, они должны были попасть в дом старика и быть спасенными им.

Когда в доме появляется группа военных-абхазов, бывших местных жителей, тоже потерявших прежний мирный человеческий облик, чеченец спасает жизнь грузина, выдав его за своего онемевшего от ранения в голову товарища. В свою очередь, когда группа озверевших военных, судя по всему, русских (вот она, русофобия!) собирается расстрелять Ахмеда, заподозрив в нем грузина, Нико спасает ему жизнь — ценой своей.

В перестрелке погибает миролюбивый Маркус, так и не увидевший Эстонии, автор фразы «Они воюют за мои мандарины».

Наверное, это ключевая фраза, на фоне которой все рассуждения Нико и Ахмеда, кто чью землю защищает, кажутся нелепыми и плоскими. Правда, более агрессивный чеченец быстрее приходит к выводу о том, что его враг сидит «в эстонском доме, на эстонском стуле». И мандарины в этой логике, в сущности, не абхазские или грузинские, а эстонские. Да и какая разница, чьи они, если люди ухитряются убивать друг друга по решительно химерическим причинам. Почему началась война, зачем, уже толком никто не помнит, а вот когда снаряд разрушает дом Маркуса, самого безобидного персонажа, становится очевидной вся бессмысленность войны. Отсутствие целеполагания, жестокость, не оправданная ничем, кроме трескучих слов и слепого «патриотизма».

Не бывает хорошей войны. А она рисуется в нашем сегодняшнем российском дискурсе как некое триумфальное шествие, праздник, легкая прогулка, в худшем случае парад или впечатляющая бомбежка в пустыне. Это даже не мифологема, которая называется «Маленькая победоносная война». Хотя она не раз сработала безукоризненно на рейтинг верховного главнокомандующего. Это обеление войны, возвращение ей ложного смысла ободрения нации, придания ей утраченных сил и энергии, ее «консолидации», логика восстановления

«справедливости», оборачивающейся самой ошеломляющей несправедливостью.

Поэтому социология и показывает, что респонденты в невероятных для умственно полноценной нации масштабах поддерживают войну, допускают ее возможность. Потому что это не пот, кровь, трупы и оторванные конечности, а прогулка на свежем воздухе в красивой такой форме, да еще и с флагами. По главной улице с оркестром.

Самый страшный результат крымской кампании, конфликта на юго-востоке Украины, сирийской кампании — реабилитация в массовом сознании войны.

Как-то на детской площадке один папа сказал своему сыну: «Ты покатай девочку на велосипеде, но без патриотизма». Он хотел сказать — «фанатизма». Но оговорился. Это была оговорка не по Фрейду, а по российскому телевизору. Такой «патриотизм», который ведет к войне, и есть фанатизм. А фанатизм и агрессия — это одичание человека, который в основе своей нормален. Одичание, которое является одним из основных вопросов философии (не марксистской) и называется банальностью зла.

…Иво и Ахмед хоронят Нико — прямо рядом с могилой сына старика. Ровно потому, что здесь могила сына, Иво и остался в Абхазии. Рядом с эстонцем, воевавшим за абхазов, то есть вроде бы за свою землю, теперь похоронен грузин. «А меня ты похоронил бы здесь же?» — спрашивает Ахмед. «Да, только чуть подальше», — улыбается Иво.

А урожай мандаринов в фильме Зазы Урушадзе так и пропал. Из-за войны.

Ходили страшные слухи о расправах над коммунистами и комсомольцами в райцентре. Я с дедушкой ходил пешком в райцентр Чернаву к родственникам и своими глазами видел жертву расправы над комсомольцем. Был жуткий мороз. Труп повешенного был снят с виселицы и поставлен у комендатуры с доской на шее, на которой было крупно написано «Он выступал против Великой Германии».

В Чернаве я впервые попал под бомбежку. Днем налетел наш советский самолет. Вокруг него были видны белые барашки зенитных разрывов. Самолет бросил бомбы. Впечатление было такое, что раскалывается небо, ужасный вой, а затем земля покачнулась и поднялся земляной фонтан. Я радовался и шептал: «Бей гадов!», но, к сожалению, пилот промахнулся, бомбы упали на краю села и не задели фашистов. Мы с дедом вернулись домой подавленные.

Через день началась канонада. Разрывы и гул приближались.

Стояла полная луна, в ее ярком свете по главной улице села

двигались немецкие бронемашины, грузовики с солдатами, бесконечные обозы. Это было величественное зрелище. А наутро мы, ребята, с криками «Наши, наши!» бросились встречать первых красноармейцев.

Оказалось, что наше село освободило подразделение капитана артиллерии Александра Чапаева — сына легендарного Чапая. Вот какая связь времен. Наше освобождение было частичкой декабрьской операции по разгрому немцев под Москвой. Но до победы оставался еще очень долгий путь.

Чапаевцы пришли вовремя и в нашем личном плане. Выяснилось, что немцы с помощью предателей в сельсовете составили список лиц, которые должны были быть арестованы буквально накануне их отступления. В списке были коммунистка Колесникова Евдокия и ее сын. И тут я вспомнил, что незадолго до этого какая-то соседка настырно выпытывала у моей бабушки — не еврейка ли ее невестка, то есть моя мать. Конечно, добровольных помощников у немцев хватало.

Евдокия Дмитриевна, судя по фотографиям, в молодости была весьма миловидна, темные волосы вились, как на картинках художников ар-деко, именно поэтому, возможно, соседка подозревала ее в «нечистом» происхождении. Я плохо ее знал, потому что она жила в семье сестры отца, с нами жила мамина мама — Любовь Герасимовна, по паспорту Либа Гершеновна, в замужестве Трауб, в девичестве — Кац-Каган, уроженка Даугавпилса, мать троих детей, один из которых погиб на войне, другая умерла в двухлетнем возрасте, муж — скончался в заключении в Коми АССР вскоре после войны. Очень тяжелая судьба: на фотографиях, где ей лет 45, она уже почти полностью седая, со взглядом измученного человека, которого ежедневно точит изнутри боль. Ее самая младшая сестра, тетя Геня, Генриетта Герасимовна, была моим любимым человеком, и тоже с чудовищной судьбой — маленькие дети умерли от последствий пережитой блокады Ленинграда, муж-инженер погиб, когда бомба попала в Ленинградский вагоностроительный завод имени Егорова. В 1970-е она долго и мучительно умирала от рака.

Баба Дуня, которую едва не приняли за еврейку, иногда приезжала к нам на казенную «цековскую» дачу в Нагорном, недалеко от базы сборных СССР по разным видам спорта в Новогорске, и самоотверженно пыталась привести в порядок огород.

Обе бабушки ушли из жизни в конце 1970-х. И если Любовь Герасимовна умерла почти в буквальном смысле на моих глазах, и кроме отчаяния мамы я помню и саму смерть, то в случае Евдокии Дмитриевны я помню только отчаяние отца, который

возвращался из больницы убитый горем. Он был совестливым и любящим сыном.

Что же до энтузиазма добровольных помощников в окончательном решении еврейского вопроса и вообще в сдаче победителям врагов, то всегда поражает скорость, с которой, как инфекция дурной болезни, распространяются бациллы доносительства и конформизма. И ведь речь идет не о принудительных, а о добровольных действиях.

Отец в то время был на Ленинградском фронте в составе 43-й гвардейской латышской дивизии, которая обороняла город Ленина все дни блокады, а затем освобождала Прибалтику. Письма с фронта я носил в кармане за пазухой и неоднократно перечитывал. Как я гордился своим отцом-гвардейцем!

Да, лежит в архиве дедовский орден Красной Звезды — густо-черешневого цвета, с отливом, как будто сделанный из красивой, съедобной застывшей массы. И серебряный портсигар с двумя пожелтевшими, как старая книга, папиросами «Герцеговина флор»: «Гвардии капитану юстиции Колесникову Ивану Ивановичу (он был председателем трибунала дивизии, а после демобилизации — членом Мособлсуда, затем — его же запредом. — *А. К.*) от СНК Латвии и ЦК КП(б) Латвии в 26-ю годовщину Октябрьской Социалистической революции». Значит, вручали в ноябре 1943-го.

43-я дивизия была наследницей 201-й стрелковой латышской. Помимо латышей, русских и поляков, там было много евреев — от 6 до 7 тысяч. Что естественно для латышских воинских подразделений — куда еще было деваться евреям из Латвии, где они массово уничтожались, в том числе добровольными помощниками немцев. В некоторых подразделениях занятия с бойцами проводились на идише — солдаты не знали русского языка. При дивизии был Государственный художественный ансамбль Латвийской ССР, где скрипачом служил Йозеф Юнгман, муж еврейской тетки моего хорошего знакомого Рене Нюберга, бывшего посла Финляндии в России, который написал первоклассную книгу о судьбах финских и латышских евреев — из них происходила его мать. Сам Нюберг вырос, по его собственному определению, в «старошведской среде», чем очень гордился…

В общем, мало того что Иван Иванович бок о бок с латышскими евреями сражался с фашистами и 13 октября 1944 года был среди освободителей Риги — его невесткой спустя пять лет после войны станет моя мама, еврейка, родители которой были выходцами из Латвии. Ее дед по отцовской линии до революции занимался традиционным для латышских евреев

лесным бизнесом. Сказано же у Довлатова: «Еврей, он сосну любит…»

И надо же было потом такому случиться, что в ЦК отец курировал северо-западный регион, то есть Прибалтику. Отпуска интеллигенции — хоть богемной, хоть академической, хоть номенклатурной, хоть разночинской — естественным образом проходили на Рижском взморье. В 1973-м в том месте, где мы отдыхали, круг курортного общения, даже на моей детской памяти, выглядел примерно так: Аркадий Райкин, композитор Марк Фрадкин, чемпион мира по стоклеточным шашкам Исер Куперман, экономист Павел Бунич. В санаторий «Янтарный берег» к отцу однажды приезжал какой-то крупный латвийский функционер, сослуживец деда. Запомнился мне его приезд только потому, что, посмотрев на меня, он произнес загадочную фразу, которую по малолетству я не очень мог расшифровать: «Ух, в эти глаза будут девки заглядываться…»

Я всегда болел в хоккее за рижское «Динамо», а любимым хоккеистом был и остается Хельмут Балдерис. Хотя… Вильнюс я ставил выше Риги, Куршскую косу — выше Юрмалы, а эстонское побережье и эстонские острова — выше всего, вместе взятого. Но это уже другая история.

Скоро мы с мамой стали собираться в Москву. Подвернулась оказия — в столицу отправлялся обоз с продовольствием. Мы договорились со знакомыми возчиками и через день после Нового, 1942 года пошли пешком в Москву за 250 километров, держась за обледенелые сани. Через неделю хода я всё же простудился. Меня положили на воз и во время остановок отогревали на горячей печке. Плюс молоко с медом. Через пару дней я опять бодро топал по укатанной дороге под голубым морозным небосводом. Вся дорога представляла ужасное зрелище. Отступающая немецкая армия бросила свою хваленую технику — артиллерию, танки, бронетранспортеры. Поля были усеяны замороженными трупами в разнообразных позах. Большинство деревень по пути было сожжено, разрушено.

Уцелевшие жители рассказывали нам жуткие подробности зверств оккупантов. Как людей загоняли в церкви, сараи, заколачивали их и поджигали.

За две недели добрались мы до станции Михнево — знаменитого грибного места, куда осенью москвичи ехали толпами, по 2–3 человека на каждый гриб… На станции купили билеты до Коломенского. На Москву билеты не продавались, въезд был строго по пропускам. Но от Коломенского до Москвы ходили трамваи, и мы с мамой через час с замиранием сердца оказались у Курского вокзала и пошли разыскивать место службы

отца до ухода на фронт. С первых дней войны он служил в военном трибунале Курской железной дороги: железнодорожники сразу были переведены на военное положение. Трибунал размещался на улице Чкалова, бывшие сослуживцы отца нас радушно встретили, разместили в зале судебных заседаний, напоили чаем…

И тут я с ужасом понял, что совершил большую глупость. Отвечал на вопросы простодушно и подробно рассказал об оккупации. И самое главное — о немецкой листовке, которая начиналась странными словами: «Сталин предал вас и вашу Родину». Зачем-то показал и припрятанные немецкие погоны, чем очень заинтересовался человек с сердитым лицом. Один из друзей отца, пожилой военюрист, отвел меня в сторону и страшным шепотом приказал мне держать язык за зубами, если я дорожу жизнью отца. Я сразу всё понял и замолчал, в душе проклиная себя. Сердитый мужчина попросил отдать ему листовку, но тут у меня хватило ума сказать, что по дороге я ее потерял или употребил по другому назначению. Кажется, пронесло.

Снова в самом неожиданном месте и по пустяковому обстоятельству тучи сгустились над Иваном Ивановичем. Причем исключительно в силу подросткового хвастовства — папе было тогда 13 лет. Сын за отца не отвечает, зато отец мог ответить за сына. Органам было всё равно — война, не война, на фронте человек, не на фронте. Могли забрать и по возвращении — орденоносца…

Заголовок же листовки говорит о внимании фашистской пропаганды к важной детали — использованию и пробуждению ненависти к Сталину, что для многих, в частности, становилось мотивацией для службы во власовской армии.

Вопрос: как папа мог быть столь горячим приверженцем этого строя и этого руководства, причем без тени цинизма и приспособленчества, когда к 13 годам понимал, что его отца уже дважды чудом не посадили. Простое и логичное объяснение — это восприятие всего происходящего как нормального, неотменяемого и безальтернативного, заслуживающего лишь адаптации. Ну и улучшения, понятное дело. Других предлагаемых обстоятельств не было, нет и не будет. Спустя девять лет отец совершит по внешним признакам безрассудный поступок — женится на еврейке, дочери «врага народа». То есть сделает это в самом начале своей карьеры, до смерти Сталина, в разгар борьбы с космополитами, сопровождавшейся усиливавшимися посадками, до всяких намеков на оттепель. Значит, и этот политический фон воспринимался им как норма, и, по крайней

мере по его мнению, совершенно не должен был мешать женитьбе на любимой, еще со школьных времен, девушке.

И дальше — тоже симптоматичный эпизод.

Нам выдали ордер на квартиру, то есть на комнату, которую отец получил в первые дни войны. Комнаты этой мы еще не видели и сразу поехали в центр, на улицу Горького. Комната оказалась на шестом этаже большого серого дома по Дегтярному переулку (д. 5, кв. 7). Дверь была опечатана сургучными печатями. Домуправ открыл нам дверь, вручил квитанцию, и мы оказались в роскошной, по нашим понятиям, своей комнате, заставленной чужой мебелью, где был огромный шкаф с рядами книг в золоченых переплетах.

Домуправ пояснил, что мы несем ответственность за сохранность этой комнаты, в которой проживал «враг народа», заставил маму дать соответствующую подписку, и мы, наконец, очутились у себя «дома».

Этот дом, куда вселялись папа с бабушкой, существует до сих пор — почти угловой с Тверской улицей, рядом с аркой. Существует, несмотря на то что вокруг уже всё посносили к чертовой матери, перестроили бывшую гостиницу «Минск», а напротив поставили матово-серую коробку бизнес-центра. Остался и другой угловой дом с Тверской, прямо напротив гостиницы «Марриотт Тверская», в Старопименовском переулке, — дом, где жила мама, в то время, правда, уже находившаяся в эвакуации в городе Семенове Горьковской области. От пятого дома в Дегтярном через проходной двор к маминому дому можно пройти максимум за одну минуту. Мама жила в комнате, которую, по семейному преданию, мечтал занять сосед, написавший донос на деда, Давида Соломоновича, что, впрочем, в следственном деле, хранящемся в Госархиве, не зафиксировано. Комнату оттяпать ему не удалось, зато дедушка в 1938-м сел всерьез и надолго, и пробыл в лагере до самой своей кончины в 1946-м. Родители утверждали, что о доносе в середине 1960-х узнал именно папа, уже работавший в то время в Комитете партгосконтроля. Как узнал — надо было спрашивать раньше, когда мама и отец были живы. Во всяком случае, с человеком, который предположительно донес на деда, семья прожила три десятилетия — под одной крышей, деля с ним кухню и туалет.

Проходной двор из Дегтярного в Старопименовский выводил пешехода к школе, бывшей гимназии Креймана (до 1937 года — 25-я образцовая, затем — 175-я), где, вероятно, и познакомились мама и папа — еще до введения в 1943 году раздельного обучения мальчиков и девочек (школа стала женской и пребывала в этом статусе до 1954-го). Ее же заканчивал мамин брат Эдя

Трауб, кажется, в 1941-м — незадолго до того, как ушел на войну и погиб. А потом, спустя годы, там много кто еще учился. Например, мой брат — до нашего переезда на Ленинский проспект, и мой друг Денис Драгунский, живший сравнительно недалеко, в знаменитом «утесовском» кирпичном доме на углу Садовой и Каретного Ряда.

В квартире проживали еще две семьи, они быстро ввели нас в «курс дела», посоветовав сразу же добыть печку, так как в комнате стояла страшная холодина. Через 2–3 дня прямо посередине роскошного паркетного пола умелец соорудил кирпичную печь и протянул двухколенную железную трубу в форточку.

Пришлось поискать во дворе какие-нибудь доски, ветки на топливо — это стало самым трудным. Во дворе была школа, около нее — дровяной склад, и я приступил к воровству. С сильно бьющимся сердцем, замирая от страха в вечерних сумерках, хватал обмерзшие полешки и тащил через черный ход наверх. Но какое блаженство, когда после стольких усилий разгорался огонь и приходило живительное тепло, поднимался пар от кипящего чайника и можно было пригласить на чай новых соседей, среди которых оказались и два мальчика примерно моего возраста. Жизнь новая, московская, началась.

Пришло, наконец, и письмо с фронта. Папа, как всегда, писал бодро, что у него всё отлично, что скоро вышлет с оказией посылку, но мы-то понимали по сводкам в газетах и по сообщениям радио, что такое ленинградская блокада. Папа утешал нас, что фронтовикам норма хлеба выдается повышенная, не 125, как всем ленинградцам, а 900 граммов.

И вот однажды приехал, опираясь на палку, офицер. Это был секретарь военного трибунала дивизии Васильев. Новости из первых рук. Долго мы его расспрашивали, но он был после ранения, и мы постарались ужаться и устроить его поудобнее на ночлег у нашей печки.

До войны Васильев работал в Совнаркоме Латвии, на фронте служил под началом моего отца, который был председателем дивизионного трибунала. Сохранился серебряный портсигар с гравировкой: «Капитану юстиции И.И. Колесникову от ЦК КП(б) Латвии и СНК Латвийской ССР». Это была память о Латышской дивизии.

Не знаю, курил ли Иван Иванович, получивший в подарок портсигар. Дед по материнской линии, возможно, курил; есть по крайней мере одно доказательство — фото самого начала 1920-х. Папа курил в юности, но потом ему запретили из-за жестокой язвы. Лишь иногда мог себе позволить закурить сигарету во время встреч с друзьями, и я тогда страшно волновался за его здоровье.

В портсигаре — тяжелом и внушительном, действительно с изящной работой гравера — лежат две папиросы «Герцеговина флор» с какой-то беззащитно и безнадежно тонкой серой папиросной бумагой, через которую просвечивает светло-коричневый табак, который, возможно, с десятилетиями теряет цвет. Мне еще с детства казалось, когда я разглядывал это дедушкино единственное наследство, что раскуривание его «Герцеговины» могло бы стать проникновением в суть времени — предмет из прошлого пришел бы в сегодняшний день дымом и засорил легкие нефальсифицированной историей. Но страшно проделать эту процедуру — в полыхающем прошлом есть что-то мистическое. Стоит ли будить его демонов?..

* * *

Зима была очень суровой, и холод держался долго-долго. Дров не было, мои «операции» по добыче топлива продолжались, я хорошо изучил все проходные дворы и в случае необходимости быстро ускользал в свой двор не только из нашего переулка, но и параллельного, соседнего Старопименовского. Нужда всему научит. С тяжелым сердцем и слезами пришлось перейти в конце концов к топке чем угодно, в печку пошла мебель и — самое ужасное — книги. В пламени погибли многие тома из доставшейся нам библиотеки, среди них такая драгоценная вещь, как «Жизнь животных» Брема. Что было делать? Погибать от холода? Он был невыносим, особенно при наших пустых животах. Именно тогда я получил так называемую юношескую голодную язву желудка. Надо было что-то предпринимать. 400 граммов хлеба на детскую (мою) и иждивенческую карточку мамы явно не обеспечивали нашего существования.

Вряд ли семью отца можно было назвать интеллигентной в аутентичном смысле слова. Но трепетное, близкое к священному, отношение к книгам присутствовало. Наверное, Альфред Брем был издания десятых годов XX века — советское только-только ушло в печать до войны, и издательский процесс был, судя по всему, прерван до послевоенных времен. Тем более ужасной была потеря нескольких антикварных томов.

За десятилетия родители собрали и сохранили огромную библиотеку, сама биография которой могла бы стать основой для нюансированного описания жизни семьи. В этом смысле семейная библиотека как раз и была, почти по Борхесу, семейной же вселенной. Библиотека отсчитывала время, служила средством воспитания и предметом ностальгии, медиумом в общении с

умершими близкими, способом понять их внутреннее устройство и даже вести диалог, разглядывая подчеркивания ногтем, карандашом или ручкой в старых книгах, изучая рисуночки, записочки, открытки и древнесоветские квитанции, лежавшие десятилетиями между страниц. Библиотека всегда оставалась живой и говорящей, постоянно используемой и одновременно мемориальной — сам себя посвятил памяти покойной мамы шкаф с ее французскими книгами, словарями и учебниками, в том числе написанными ею. Забытые книги оживали заново, непрочитанные — прочитывались, обретая обаяние времени и подлинности на пожелтевшей сухой бумаге. Библиотека отдавала самый вкусный запах — аромат старых книг, сравнимый с лучшими ароматами мира — свежемолотого кофе, соснового леса, моря, детских волос и кожи, впитавшей солнце…

Эта библиотека приняла в себя осколки разных семейных цивилизаций и стала отражением истории страны — обыски, аресты, переезды, смерти. Исчезновение книг, появление книг, переходивших по наследству от умерших родственников. Подарки и «наградные» книги гимназистам и участникам культурной жизни санатория. Советские подписные издания — радость узнавания нескольких поколений советских людей. Результаты моей многолетней охоты в букинистических магазинах. Иностранные покеты со второго этажа исчезнувшей «Академкниги» на углу Горького и Пушкинской и из «комиссионки на Качалова», тоже исчезнувшей. Книги, заказанные через *Amazon* и купленные в разных городах Европы в сети *Waterstones* или в гарвардском магазине *Coop*.

Тома — часть слайдов, оставшихся в качестве визуальных образов детства. Полное собрание сочинений Тургенева 1891 года издания: уцелел исключительно том первый в густо орнаментированной обложке цвета граната. Тоже красного цвета гигантский том Белинского с рельефным полуфасом автора, издание товарищества Вольфа. На форзаце вклеена исполненная типографским способом бумага с изображениями Александра I и Николая II, призванных олицетворять преемственность поколений власти, что подчеркивается датами — 1812–1912. Есть также профиль Кутузова, но при этом Наполеон почему-то появляется дважды: стоит спиной к читателю, меланхолически обозревая войска, уходящие на поле брани; стоит боком, мрачно поглядывая на купола церквей, возможно, московских. Печать Двинского реального училища подтверждает подлинность бумаги, полученной братом бабушки: «Педагогический Совет Двинского реального училища на основании параграфа 30 Правил об испытаниях учеников реальных училищ, утвержденных Г.

Министром Народного Просвещения 29-го апреля 1895 г., наградил этою книгою ученика IV-го класса Кац-Кагана Меера за примерное поведение и отличные успехи, оказанные им в истекшем учебном году. Г. Двинск, ноября 21 дня 1913 г.». И подписи всяких важных людей, включая четкую — протоиерея Николая Околовича.

За три секунды поиска в Гугле можно узнать следующее: «В декабре 1912 года священник Николай Околович был назначен законоучителем Двинского реального училища (современный г. Даугавпилс, Латвия)… Свою 30-летнюю педагогическую службу о. Николай закончил в мае 1919 года в г. Речица (город в Белоруссии — *А. К.*), где находилось с октября 1917 года в эвакуации Двинское реальное училище. После окончания немецкой оккупации он покинул Речицу и с мая 1919 года проживал в Витебске… Протоиерей Николай Околович был арестован 24 апреля 1931 года… скончался в заключении в 1934 году. Место заключения и мученической кончины, а также причина смерти о. Николая остались неизвестными».

Реальные училища были открыты детям всех вероисповеданий, там преподавался закон Божий. Судя по свидетельству Митавского реального училища, которое было выдано моему деду Давиду Траубу в 1912 году (для поступления в Варшавский политехнический институт), вероисповедание указывалось как иудейское, но закон Божий изучался в обязательном порядке. Кроме того, преподавались: русский, немецкий, французский языки, математика в разных видах (в том числе специальный курс «Основания аналитической геометрии и анализа бесконечно малых»), история, естествоведение, физика, математическая география (важная для той эпохи смесь геодезии, картографии и астрономии, не слишком близко связанная со знакомой нам физической географией), рисование, законоведение.

И это ведь трогательно, когда столь уважаемый протоиерей надписывает книгу классика русской литературной критики еврейскому ученику. Самое интересное, что в то же самое время двинским раввином был тезка мальчика с чуть иначе транскрибированным именем — знаменитый Меир Симха Кац-Каган, занимавший свой пост 38 лет, автор комментария к Маймониду «Ор самеах» — «Свет радости», дважды изданного — в Варшаве и Риге. Про него рассказывали разные истории, как про настоящего мудреца — в жанре хохм (мудростей). Например, такую. В субботний день, когда курить запрещено, Меир Симха встретил молодого человека с папиросой. Тот поспешил смять ее в кулаке. Раввин сказал ему с отеческой добротой: «То, что ты

куришь в субботу, конечно, плохо. Но то, что ты, уважая старшего, рискуешь обжечь ладонь, — хорошо и достойно одобрения». Еще он однажды остановил, по мнению горожан еврейской национальности, наводнение. В Первую мировую войну Меир Симха отказался эвакуироваться из города, решив остаться с тем небольшим числом жителей Двинска, которые явным образом находились в опасности под немецкой оккупацией.

Как раз в войну семья бабушки двинулась на восток и осела в Твери. Там же оказалась и семья деда. Спустя годы в семейной библиотеке на целый век осядет подаренный дедушкой бабушке в 1918 году толстый и широкоформатный сборник «Современные русские лирики. 1907–1912», собранный Евгенией Штерн и изданный в 1913-м. Это совершенно замечательное своим разнообразием собрание, в том числе забытых сегодня поэтов. Хотя стихи вычурны, как виньетки, и в своей вычурности совсем холодны. Еще не подозревавшая о том, что ей предстоит стать автором «Ленинианы» Мариэтта Шагинян, в то время изучавшая философию (не марксистскую) в Гейдельберге, начинала свое стихотворение так: «О этот томный взгляд, лукавый и призывный / Из-под опущенных ресниц…» Ну, точно не Ленин…

* * *

Помню муки совести, когда шел из булочной и не было сил удержаться от соблазна съесть довесок или отщипнуть корочку от полученного пайка, который очень быстро уменьшался по мере приближения к дому и на стол выкладывался обглоданный кусочек.

Через знакомых мне удалось устроиться на работу в Учебно-производственный комбинат № 3 Свердловского РОНО в столярную мастерскую. Мы назывались учениками столяра, зарплаты не платили, но зато давали рабочую карточку, а это уже серьезное подспорье — целых 900 граммов хлеба! Жить стало легче, тем более что при мастерской была своя столовая. Давали какую-то болтушку, кисель, но помнится, что самым вкусным казался суп из свекольной или морковной ботвы, ну, а о картошке и говорить нечего — ведь долгое время мы кормились картофельными очистками, запекая их в печке до хрустящей корочки.

Бомбежки Москвы велись регулярно. Иногда, когда стрельба и разрывы особенно усиливались, мы ходили в бомбоубежище, то есть в метро на станцию «Маяковская». Прямо на мраморном полу раскладывали пальто и спали все вповалку — старики, дети,

женщины. Уборные были далеко в тоннеле, надо было идти по шпалам в таинственные пещеры. Всё время боялись — вдруг пойдут поезда…

Ко всему привыкаешь. Начиная с весны 1942 года мы уже перестали ходить в метро, выработался какой-то фатализм: будь что будет. Как-то раз мы во время очередной тревоги остались дома, бомба упала недалеко, и наш дом, как этажерка, начал качаться из стороны в сторону, покачался и остановился. Вышли на улицу — угловой дом, выходивший торцом на улицу Горького, был полностью разрушен.

Московская альтернатива: остаться в городе или отправиться в эвакуацию? Выбор сложный. Можно судить хотя бы по метаниям семьи отца. Сначала послали ребенка в деревню. Потом выяснилось, что отправили навстречу немцам. Затем — вернулись (пешком!) в холодный и голодный город, где бомба угодила в соседний дом — теперь тут сверкающий отель «Интерконтиненталь». Хотя не для всех выбор был добровольным. Вот что пишет сэр Родрик Брейтвейт в книге «Москва 1941»: «Когда началось наступление немцев на Москву, эвакуация значительно ускорилась. 7 октября Пронин (председатель Моссовета. — *А. К.*) издал приказ об эвакуации неработающих женщин с детьми. За выполнение этого приказа отвечала московская милиция. Те, кто отказывался выезжать, должны были преследоваться в судебном порядке. На 11 октября из Московской области планировалось эвакуировать еще 300 тысяч женщин и детей… В городе ключевой фигурой снова становились управдомы. Покидавшие Москву люди должны были информировать домоуправления и авансом вносить квартирную плату или переводить деньги из того места, куда они были эвакуированы».

Семья мамы в то же самое время была в эвакуации в городе Семенове Горьковской области. Спасибо еще, что потом смогли занять свои же комнаты в Старопименовском. Правда, без старшего сына, оставившего рисунок утонувшего в снегу деревянного дома в Семенове, а затем погибшего на Курской дуге. *La stanza del figlio.* Комната сына. Бабушка писала ему, погибшему, скорбные письма. Жутким почерком: «Где же ты сложил за родину свою еврейскую головушку».

Бабушка прожила очень тяжелую жизнь. За это еврейский бог послал ей быструю и легкую смерть. Она произошла на моих глазах в декабре 1977 года, вскоре после того, как была принята новая советская Конституция. «Скорая» не успела приехать. Мы стояли в коридоре в обнимку с мамой. Всё произошло внезапно и быстро. До этого, правда, была классическая стариковская

история — перелом шейки бедра, поскользнулась, когда шла в магазин. Почему-то я запомнил, как незадолго до бабушкиной кончины читал ей вслух «Приключения Эмиля из Лённеберги» Астрид Линдгрен. Потом то же самое я проделаю для всех своих троих детей — это очень смешная книга.

После бабушкиной смерти мама затеяла ремонт в квартире, чтобы как-то спастись от горя. Недавно я нашел письмо бабушки моему папе 1949 года — «Володенька, милый, Вы…». Она не называла его на «ты». И честно говоря, я не помню, как это было принято у нас в доме. Жили они мирно. И если с кем и ссорилась бабушка, так это с мамой. Предметы спора мне не известны. Но угрозы уехать куда-нибудь в центр города, то есть собственно в «город» с нашей окраины, были серьезными.

Громоздкие черные часы «Буре» после кончины Любови Герасимовны остановились. Или мне так только кажется сейчас, а они давно уже помалкивали?

Мне было двенадцать лет. Моя первая смерть. Комнате бабушки долго не могли найти применения, а я боялся спать на ее кровати. Папа иногда уходил в ее комнату, садился в кресло и расслабленно читал что-нибудь легкое. Например, журнал «Физкультура и спорт» со штампом библиотеки ЦК. Потом комната превратилась в гостиную, совмещенную с «телевизионной». Там же стоял проигрыватель, я слушал на нем пластинку *Arrival* ансамбля «*ABBA*» — на обложке все четверо в белом стоят на фоне вертолета. Агнета Фельтскуг все-таки выглядела много лучше Анни-Фрид Лингстад. Хотя многие со мной не соглашались.

Бомбежки продолжались до весны 1943 года, пока не окрепла противовоздушная оборона — ни один немецкий самолет не смог ее преодолеть. Мы боготворили летчиков, они и до войны считались героями, а теперь тем более. Подробности боевых вылетов мы знали из рассказов знакомого летчика, который весело пил с нами чай, радушно угощая боевым «НЗ» — плиткой необыкновенно толстого и горького шоколада.

Поколенческое: и мама, и папа считали лучшим шоколадом — толстый и горький. Конечно, летчики — сначала рекордсмены и полярные (подруга мамы подарила мне как-то книгу о летчике Михаиле Водопьянове), затем военные — оказывались в детском сознании в одном ряду с фронтовым шоколадом. Папа вспоминал, как в детстве, получив однажды подарок, как теперь бы сказали, категории *luxury*— шоколадный набор «Олень» фабрики «Красный Октябрь», немедленно его весь и съел. А потом еще долго не мог есть шоколад. Это было еще до войны. Он мне сам рассказал об этом, когда принес домой ровно такой же набор

шоколадных фигурок: на коробке — красный олень, заключенный в золотой овал. Моими же любимыми шоколадными конфетами были «Садко». Не меньше, чем содержимое, мне нравилась сама коробка — невероятно нарядное, иначе не скажешь, изображение самого Садко и корабля, плывущего вдалеке, — сейчас такое буйство красок мог бы устроить только модный дом *Dolce & Gabbana*. Почему-то я сразу вспоминал иллюстрации Владимира Конашевича к сказкам Пушкина, хотя манера была абсолютно другая… Цивилизация, затонувшая в море с коробки конфет «Садко».

…А в своей взрослой жизни я не знал большего ценителя советских конфет, чем Валерия Новодворская. Мы разделяли с ней страсть к несоветскому либерализму и «Мишке косолапому». Потому что были советскими детьми. И когда она скончалась, мне казалось, что умер большой ребенок.

Она приходила в редакцию, «дыша духами и туманами». Нежно душила в объятиях сотрудников. Отзванивалась маме, которую называла Фунтиком. Вручала каждому встречному какую-нибудь шоколадную конфету из классического набора к Новому, этак 1957, году. Шоколад — единственное, что могло бы примирить ее с советской властью. Но не примиряло.

Лера садилась на свободное место или пристраивалась у краешка стола, например, моего. Мы ели конфеты. Она тихонечко писала от руки в пределах часа. И, даже не зная о том, что такое знаки с пробелами, аптекарски точно попадала в размер колонки. Требовала немедленного прочтения еще не перепечатанной статьи и реакции, желательно содержательной. Ссылки на редакторскую занятость не принимались. Текст, написанный аккуратным четким ученическим почерком с очень сильным нажимом, никогда не нуждался в литературной правке. Бюро проверки нечего было с ним делать. Аллюзии оказывались безупречны, цитаты, воспроизведенные по памяти из любого классика, безукоризненно точны, вплоть до последней запятой. Текст никогда никого не щадил. Как и последняя ее колонка в журнале *The New Times*, где она расправилась с Исааком Бабелем за соглашательство с той самой советской властью. Конармия под пером Леры наконец потерпела свое историческое поражение…

Если Валерия Ильинична случайно попадала на редакционную летучку — или в старом «Новом времени» в 1990-е, в редакции на Пушкинской, или в конце нулевых в *The New Times*, — театр одного актера был обеспечен. Ее предложения по улучшению журнала, разумеется, выходили за границы традиционного осмысления новостной повестки и страшно веселили редакторат. Про себя я думал, что было бы, если бы мы

решились выпустить один номер, *special issue*, состоявший из идей Новодворской. Закрыли бы издание, скорее всего, просто с лету… Зато красиво бы ушли…

Лера не знала полутонов в политике. Не знала компромиссов, в том числе в своих текстах. У нее был один — не либеральный, а либертарианский эталонный метр, которым она измеряла даже персонажей далекого прошлого. Если вдруг с ней пытались спорить, в слабой надежде выкинуть из статьи чересчур жесткий фрагмент, она искренне недоумевала — как человек, сидящий перед ней, соратник, единомышленник, либерал, разделивший ее страсть к шоколадным конфетам, может допускать мысль о смягчении текста, о каком-то там компромиссе?

«Об искренности в литературе» — это она. Искренность — главное слово. Именно поэтому, когда она умерла, даже Владимир Путин молниеносно прислал соболезнования: он наверняка знал, что Новодворская считает его врагом, но не сомневался, судя по всему, в том, что это чувство не конъюнктурное и не за бабки, а искреннее, бескорыстное, дистиллированной диссидентской чистоты. Может быть, ему докладывали, как ей сломали здоровье в советской психушке и сколько сухих голодовок она держала. Уж он-то явно не считал ее юродивой. Таких несгибаемых врагов уважают. И хотели бы иметь среди своих соратников. А то кругом одни измены да шубохранилища. «Все интриги, вероятно, да обжорство», как писал столь любимый Лерой поэт Бродский, градус бескомпромиссности которого вполне ее устраивал.

С Новодворской было весело. Новодворскую любили. Но она была одинока. В организованном диссидентском движении ее, судя по всему, уважали, но и там она выбивалась за все и всяческие рамки. В нашем старом «Новом времени», по соседству с «Новым миром», ей дали писать не статьи и памфлеты — это для нее слишком прямолинейные и пассионарные форматы, а театральные рецензии — она хорошо разбиралась в театре, но и в этих, по сути не политических статьях она ухитрялась уязвить власть, соглашательство и все семь смертных грехов.

Она была непримирима и бескомпромиссна, но и столь же наивна, на грани христианской святой — если бы не оставалась городским человеком, разговаривала бы, как Франциск Ассизский, с птицами. Иногда влюблялась и идеализировала людей, которых совсем не стоило бы идеализировать. Например, твердой была ее вера в Звиада Гамсахурдиа. Но это — часть характера и внутреннего, очень трогательного и светлого устройства, которые влияли на политические пристрастия. По тем же причинам она влюблялась и в достойных людей, не

обманываясь в них, — например, боготворила Егора Гайдара.

Нашлись люди, которые публично заранее швырнули несколько камней в ее могилу, потому что, видите ли, она была врагом России. Да нет же, она была самым горячим патриотом России.

Только у нас с этими господами разные родины и разные России.

Это та правда, которую доказывала Новодворская и которую мы, ее редакторы, пытались смягчить, надеясь, что это не так. А Лера в своем радикализме чистейшего «первого» отжима была права. И говорила то, что мы стеснялись сказать вслух.

Противники Леры считали ее жестоким человеком. Но это не так. Валерия Ильинична была очень доброй. В бытовом, человеческом смысле слова. Просто они никогда не получали от нее в подарок конфету «Мишка косолапый».

Работа в мастерской спорилась, обработка дерева досталась мне по наследству от дедушки и дядьев-братьев отца, которые тоже занимались плотницким и столярным делом. Мастера нас обучали личным примером и при помощи квалифицированных матерных указаний. Однажды, чтобы как-то унять особенно злостного матерщинника, мы устроили каверзу.

Пол был завален всяким железным хламом — обрезками металла, труб, кровельного железа и т. п. Электропроводка свисала оголенными проводами. К проводам присоединили железные прутья, их — к ломам и далее на все железки. Получилось замечательно — мастер как всегда явился мрачный и на своем «командном» языке спросил: «Что это у вас за…, дети?» И топнул ногой по хламу, вызвав страшный грохот и фонтан электрических брызг. Этот великолепный фейерверк сопровождался всеобщим хохотом и криками испуганного мастера, который пообещал нам страшные последствия на своем изощренном языке. Но с тех пор он разговаривал с нами только официально и ни разу не сорвался. Это оказался совсем другой человек, который быстро научил нас тонкостям ремесла до той степени, что мы, кроме унылых табуреток, вскоре получили заказ на изготовление тумбочек для госпиталя, которые потом торжественно вручали раненым бойцам. Строгали и доски для гробов.

Отец подчеркивал пролетарскую закалку, словно бы извиняясь перед невидимым читателем за свою интеллигентность — так он был воспитан, в строгом соответствии с советским социальным каноном. Это опять же представления о советской горизонтальной и вертикальной мобильности: да, хорошо бы, чтобы в биографии значилось высшее образование, но важно,

чтобы там обнаружилась строка вроде такой — «начинал фрезеровщиком на заводе». А для карьеры в высших сферах, мягко говоря, желателен был опыт работы в обкомах, особенно если речь шла о ключевых отраслевых отделах ЦК. Ну, райкомы в биографии отца присутствовали. Так что низовой уровень парторганов оценивался «административным рынком труда» высоко — как строка в *CV* об окончании университета уровня *Ivy League* в США. Притом что отец вообще не был карьерным человеком — просто придерживался символа веры, как мошавники-социалисты из числа довоенных эмигрантов в Израиль. Из него получился бы прекрасный кибуцник — честный, активный, трудолюбивый.

* * *

Знакомство с госпиталями послужило началом моего «творческого пути» — по примеру других сотоварищей я стал выступать перед ранеными с чтением стихов и рассказов. Читал моего любимого Зощенко. Воспринимались его рассказы очень хорошо, особенно «Баня». Шумные аплодисменты, похвалы кружили голову, предопределяли дальнейшие мечты и планы. Месяца два работали мы в театре Ленинского комсомола, делали различный реквизит. Там я как-то раскроил себе ладонь стамеской, след остался на всю жизнь. Но был счастлив, хоть с какой-то стороны приобщившись к настоящему искусству. И с гордостью всем сообщал, что работаю в театре.

Неизбывная боль — мечта о несостоявшейся карьере актера при состоявшейся карьере юриста и управленца. Особенно острая — сразу после окончания школы, кажется, провала в театральном и подачи документов в юридический. В семейном архиве сохранилась тетрадь-дневник папы за 1947 год. Первый курс Московского юридического института. (Был такой тогда, кузница самых разных кадров; потом его объединили с юрфаком МГУ. Среди выпускников, например, журналист Валерий Аграновский, но о Московском юридическом — позже.) Студенту невыразимо скучно. Бывшая классная руководительница говорит любимому ученику, что ему «нужна сцена». Он и сам так считает и всю стипендию тратит на посещение театров, а дневник становится коллекцией театральных рецензий. «Юристом мне не быть»; «В институте всё та же тоска, что и прежде. Не здесь мое место!»; «Я заражен смертельно и навсегда театром».

…Интересен выбор чтецкого репертуара для госпиталя — рассказы Зощенко. От них веет непроветриваемой тоской совка —

столь зловонной, что рассказы и фельетоны мне всегда казались отнюдь не смешными — босхиански страшными. А солдаты в госпиталях смеялись, как будто им рассказывали анекдот. Узнавали себя, соседа, сослуживца. Свою прошлую, довоенную, и будущую, послевоенную жизнь. И только товарищ Жданов в докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград» декодировал Зощенко: «…он изображает советских людей бездельниками и уродами, людьми глупыми и примитивными… избрал своей постоянной темой копание в самых низменных и мелочных сторонах быта».

Знать бы, кто вписал Жданову фразу об Ахматовой в этот доклад, ту самую, где она мечется «между будуаром и моленной». Тоже зеркало тогдашней номенклатуры, бившей поклоны бюстам основателей и помешанной на балеринках — в широком смысле этого слова. Как, например, глава Агитпропа Георгий Александров, вдохновитель группы «гладиаторов» — от глагола «гладить». «Я только гладил», — это фраза Анатолия Еголина, соратника (во всех смыслах) Александрова, которого, кстати говоря, в 1946 году назначили главным редактором журнала «Звезда» для исправления ошибок редакции по линии Зощенко и Ахматовой.

Глава 3. Больше чем любовь

Осенью 1943 года я познакомился и навсегда подружился с Володей Митяевым. В 167-й школе, где я начал учиться после работы в мастерской, мне приглянулся очень серьезный, начитанный мальчик, который явно превосходил многих соучеников своими знаниями и интеллигентными манерами. Мы с ним были комсомольцами, одними из немногих в классе. (Я вступил в ВЛКСМ как рабочий паренек еще 8 марта 1943 года.)

И вот однажды был объявлен воскресник по заготовке дров для нашей школы. После бурного комсомольского собрания класс с энтузиазмом заполнил грузовой трамвай, который довез нас до Южного порта. Ехали долго, часа два, и энтузиазм как-то постепенно таял. А после погрузки вагона — таскали обледенелые бревна — ребята понемногу стали исчезать. Когда вагон был погружен, оказалось, что из всего класса остались мы с Володей и наш классный руководитель — худенькая учительница с тоненьким голосом.

«Как же теперь?» — выдохнула она. «Ничего, справимся! — в один голос ответили мы, добавив неуверенно — Нам не привыкать». — «Ну, тогда, мальчики, поехали». И мы поехали через весь город к месту разгрузки, до Оружейного переулка. Часов в 7–8 вечера трамвай дотащился до места, и мы с Володей яростно бросились на бревна. Разгрузка заняла почему-то гораздо меньше времени, чем погрузка, уже сказался опыт. Доблестным такелажникам была объявлена благодарность и выданы награды — по небольшому бревнышку с квитанцией, чтобы нас не задержала милиция. Гордые и усталые явились мы домой с трудового фронта. А главное — с этого началась наша дружба, которую не смогли ни погасить, ни разорвать все невзгоды времени.

На фотографии папиного класса в 1946 году он, как один из самых высоких учеников, стоит в верхнем ряду, опустив руку на плечо чуть ниже стоящему лучшему другу, одетому в красивый белый свитер с отчетливо видным на нем комсомольским значком. Интересно, что, несмотря на идеологическую перенасыщенность времени, у ребят в классе были смешные прозвища: Идейный вождь, Купчик, Молекула. А классного руководителя — за усы системы «зубная щетка» — прозвали «фюрером». Хватало же упорства мужику носить такие усы во время и после войны с Гитлером, да еще в мужской средней школе…

Володе и особенно его маме Мирре Львовне Каменецкой,

святой женщине, я обязан первым приобщением к марксизму. Мирра Львовна, подпольщица, участница Гражданской войны, преподаватель марксизма-ленинизма в Станкине, сумела передать нам, несмышленышам в политике, частичку своей пламенной революционной души, свое трепетное отношение к коммунистическим идеалам. 18 марта — День Парижской коммуны — стал для нас таким же праздничным днем, как и 7 Ноября. Благодаря Мирре Львовне я открыл для себя новый революционный мир в книгах Виктора Гюго, полюбил Гавроша и героев парижских баррикад.

У нас часто вспыхивали дискуссии. Интересно, что я ухитрялся быть «оппозиционером», нарочно поддразнивал Мирру Львовну охами и вздохами по поводу тогдашнего положения в обществе, в снабжении и т. п. С какой чистой яростью набрасывалась она на меня, защищая советский строй, советские порядки, загоняя меня в угол «железной логикой». Тем самым она воспитывала меня исподволь, за что я по гроб жизни ей благодарен.

Вот один из источников папиной ортодоксальности, идущий напрямую от поколения старых большевиков, которых как раз за эту несгибаемость принципов и не любил Сталин. Слишком близко стояли они к истокам — до такой степени, что День Парижской коммуны в их сознании приравнивался к 7 Ноября. Типаж в те годы нередкий, причем такой закалки, что она позволяла им придерживаться прежних взглядов и после отсидок в лагерях — такой была, например, легендарная Ольга Шатуновская, проведшая в ГУЛАГе 17 лет, а затем с прочных ленинских позиций занимавшаяся реабилитацией репрессированных. Или Дора Лазуркина, отсидевшая 18 лет и на XXII съезде выступившая за то, чтобы Сталина вынесли из мавзолея: «И я считаю, что нашему хорошему, прекрасному Владимиру Ильичу, самому человечному человеку, нельзя быть рядом с человеком, со Сталиным, который хотя и имел заслуги в прошлом, до 1934 года, но рядом с Лениным быть не может». Она употребила словосочетание «режим Сталина». В официальной стенограмме это словосочетание заменили на «обстановку в 1937 году». Еще одно место, где типаж несгибаемых большевичек был распространен, — это Израиль времен довоенных алий и строительства кибуцев и мошавов.

У Володи была крошечная, но зато отдельная комнатка, наверное, метра 4 на 2, где стояли по стенкам узенькие диванчики-топчанчики. На них-то мы и ночевали, обменивались сокровенными мыслями, спорили и соглашались. Володе я обязан пониманием великого поэта Маяковского, его тонкой лирики и

едкой сатиры. Любовь к Маяковскому сохранилась на всю жизнь.

Кругом был трудный тыловой быт с немецкими налетами, победами и поражениями. Война оставалась главным содержанием нашей тогдашней жизни. Мы мечтали попасть на фронт, и вот в конце 1943 года начали подпольно готовиться к побегу. Запасли сухарей, кое-что из продуктов, спички, соль, папиросы. Мы уже покуривали потихоньку, а главное — знали, что папиросы и водка — это твердая валюта, их можно обменять на что угодно. Пол-литра водки стоили 500 рублей, огромная сумма по тем временам, ведь на эти деньги можно было купить целую буханку хлеба без карточек, что мы и сделали, сбегав на рынок.

Однажды ранним утром, оставив моей маме записку, «чтобы нас не искали», мы с Володей отправились на Ленинградский вокзал, сели без билетов в поезд и поехали… на фронт, рассудив, что здесь ближе всего, рассчитывая доехать до Бологого, а там уже и фронт рядом.

Ехали днем в вагоне, ночью — в тамбуре, съежившись, сидели на корточках. Двое суток тащился поезд, всё было благополучно, но как-то ночью патруль наткнулся на нас в буквальном смысле. Солдат наступил на наши ноги, посветил фонариком и, схватив за шиворот, доставил в лапы железнодорожной милиции. Это случилось на подъезде к нашему заветному пункту — станции Бологое. Начались обыск, нудные допросы, страшные угрозы. У нас была запасена легенда, что едем из детдома после эвакуации к тете в Ленинград. Этой наивной истории милиция, конечно, не поверила, и следователь стал запугивать нас, перечисляя статьи Уголовного кодекса, которые мы якобы нарушили, со смаком называя сроки — от 3 до 7 лет. Обнаружив в кармане, например, перочинный ножик или лезвие от безопасной бритвы, пожилой милиционер мрачно говорил: «Ага… Хранение холодного оружия. Ну, это минимум 3 года». И тяжело вздыхал.

Мы дрожали и обливались холодным потом. Спасло нас наличие таких важных документов, как комсомольские билеты. Видимо, были какие-то телефонные переговоры, и через день нас отвели в другой поезд, в специальное милицейское купе с зарешеченным окошком, напоили чаем и отправили обратно в Москву.

Если бы не бдительность контролеров, наш побег на фронт мог бы и удаться, тем более что днем мы уже начали договариваться с ребятами-призывниками, которые ехали командой в том же поезде, что они выдадут нас за своих. Но дальше обмена хороших ботинок Володи на драные немецкие сапоги одного жуликоватого призывника дело не пошло. Да и мы

потом поняли, что толку от нас пока мало, и с чувством облегчения оказались утром на московском вокзале.

В школе ребята встретили нас как «героев», а преподаватели и наш директор Лилия Петровна отнеслись снисходительно, лишь снизив до тройки оценку по поведению за четверть.

Я знал эту историю в устном изложении. Она казалось естественной: конечно, мальчишки хотели попасть на фронт. Притом что отцу было 15 лет, а его другу — 14. Здесь было всё — и приключение, и тайное желание закончить эту историю (что в результате и случилось), и возможность поворота судьбы с превращением в «сыновей полка», и вероятность стать маленькими зэками (в пространстве этого повествования уже дважды маячил арест моего деда и единожды арест отца — патриотически настроенного подростка). Ребята выполнили свой долг перед самими собой. Внешний мир совершенно неожиданно вполне адекватно оценил этот искренний порыв. Его самоценность — пусть мальчишки и не оказались на фронте, но ведь сделали попытку. И тройка по поведению означала высшую оценку мальчишеского порыва.

Осенью 1993 года мы с Володей отметили 50-летие нашей нестареющей юношеской дружбы. Все эти годы мы неразлучны, как два полюса магнита. А к этому магниту притягивались и все наши хорошие друзья — сначала из школы, потом, очень немногие, со стороны.

Из школьных сотоварищей создалось «Общество старых друзей» по образцу пушкинского лицейского общества «19 октября». Начиная с 1945-го, мы каждый год встречаемся в последний день школьных каникул — 10 января. Причем без всяких исключений: уважительной причиной могут быть только болезнь, командировка, то есть физическая невозможность присутствовать. Помню, как одного из нас, Сережу Мошковского, распределили на работу на Сахалин с обязательством жениться до отъезда, что он и сделал. И все мы вместе пошли на Центральный телеграф, чтобы послать ему телеграмму, решительно настояв на точном воспроизведении текста: «Борись с женой за мир в семье, с приветом, старые друзьЕ».

Возраст свой мы теперь меряем по количеству встреч, и потому мы относительно молоды — нам 33, 34… 40, 41, 42… А теперь всего 50. И слава богу, все еще живы, все, все, все!

По 50-летию встреч «Общества» можно определить, что отец дописывал мемуары в 1995 году, после второго, столь же серьезного, что и первый, инсульта. В то время ему не было и семидесяти, а жить оставалось пять лет.

Ближайший друг отца, Владимир Григорьевич Митяев, жив.

Их дружба, которой теперь было бы уже 75 лет, мне казалась неправдоподобно идеальной. Отчасти дело, конечно, в добродушии и незлобивости характеров двух друзей. Но это была еще и дружба двух образцовых советских людей, в которых природная порядочность сочеталась с порядочностью идеологической — причем не по принуждению: такое только в кино показывали, пожалуй. Фантастические доброжелательность, интеллигентность, расположенность к собеседнику, даже восторженность — так они и между собой дружили. Владимир Григорьевич, историк, специалист по США и западной ядерной политике, работал в КГБ. Ничего от «комитетчика» в нем не было. Но от кого-то я слышал историю, что, когда нужно было помочь приятелю в срочной госпитализации, он в экстремальный момент повел себя с несвойственной ему жесткостью, оттого, наверное, тем более убедительной: «Я — референт Андропова».

Кстати, об органах. Далее в мемуарах отец отмечает одно важное свойство «Общества старых друзей».

Только теперь, спустя полвека, мы осознали, какой у нас оказался порядочный состав: среди двадцати человек не оказалось ни одного доносчика-предателя. Ведь нам известны случаи, когда в массовом порядке создавались разного рода молодежные клубы-общества, в те годы это было модно. Возникали общества молодых ленинцев, сталинистов и т. п., стремившихся улучшить государство, улучшить социализм на основе «правильного» марксизма-ленинизма, но их участь была печальной. Большинство участников арестовывались по доносам своих же товарищей, «раскаявшихся» или испугавшихся. Так ломались молодые жизни. Конечно, наше «Общество старых друзей» не было столь политизированным, мы были и остались единомышленниками, и стукачей среди нас не было. Осталась дружба — настоящая и верная, настоящее содружество единомышленников-демократов либерального толка. И, как поется в нашей традиционной песенке: «Друзья, себя вы не жалейте, за всё, за всё вам отплачу и на веревке с того света бутылку водочки спущу…»

Песенка эта ходила в разных версиях, начиная с XIX века. И один из вариантов заканчивался так: «И вот в день Страшного суда / Картина будет превосходна: / Пойдут все праведники в рай, / А пьяницы — в кабак повзводно».

И еще неизвестно, что лучше…

Круг «старых друзей» — советский средний класс. Выходцы из разных семей, коммуналок и не коммуналок вокруг улицы Горького на отрезке от Пушкинской площади до Белорусского вокзала, они почти все не потерялись в жизни. Многие

переженились на школьных подругах, что совершенно нетипично для нынешнего времени. Потом в их круг вошли наиболее содержательные и близкие уже не школьные друзья, однако крайне немногочисленные. Попытки приводить в «узкое политбюро» малознакомых персонажей по принципу «а вот еще один наш одноклассник» успеха не имели — это были чужие по духу люди. Помню одного такого человека, которого привели к нам в дом в конце 1970-х, отличившегося тем, что он разнообразил песенный репертуар «старых друзей». От случившегося шока я, всегда обращавшийся в слух, когда приходили гости, даже запомнил слова исполнявшейся незнакомым гостем частушки: «Мимо нашего окна провезли покойника, у этого покойника стоит до подоконника».

Знаменитостей — притом что все «старые друзья» состоялись в своих профессиях и оказались довольно высоко на лестнице советской вертикальной мобильности — не было. Если не считать вошедшего в круг встречавшихся каждый год 10 января давнего друга отца по Юридической комиссии при Совмине Союза Анатолия Лукьянова. Но никаких номенклатурных различий и уж тем более напряженности и настороженности я не замечал. Подшучивали над высокопоставленным другом — мол, в кустах, наверное, автоматчики прячутся. Но никаких автоматчиков не было, это сейчас в такой ситуации пространство вокруг нашего дома зачистило бы ФСО — советская власть не боялась до такой степени своего народа, как власть нынешняя.

Родители, а иногда я с ними, отдыхали летом в Прибалтике в тех местах, где соседями оказывались весьма уважаемые и известные всей стране люди, с которыми и общались по-курортному почти близко — от спортсменов и членкорров до эстрадных артистов и знаменитых композиторов. Почти ни с кем из них — при чрезвычайной дружелюбности и коммуникабельности отца — потом не поддерживались дружеские отношения, исключением стал композитор Павел Аедоницкий.

Собственно, не было «селебритис» и в нашем номенклатурном квартале — люди, достойные мемориальных табличек, жили либо на Кутузовском, либо в угловом сталинском доме на Алабяна, либо в домах гораздо более высокого класса, чем у нас, в арбатских переулках, где в шаговой доступности оказывалась величественная первая поликлиника четвертого главного управления Минздрава. Тихий незаметный пожилой человек из нашего дома, выгуливавший, кажется, скотч-терьера, Георгий Цуканов, служил ближайшим помощником Брежнева — за столь титулованным мужчиной сейчас с шумом и треском,

расталкивая всех по дороге, приезжал бы лимузин с мигалкой, а то и кортеж. Ничего подобного в принципе не наблюдалось. Как не мог я себе представить, какого масштаба чиновником был дедушка моего скромнейшего одноклассника Коли Савинкина — Николай Иванович Савинкин, генерал, почти четверть века заведовавший отделом административных органов ЦК, который «разруливал» отношения армии, КГБ, судов и прокуратуры. Мой друг с седьмого этажа и однопартник был сыном начальника цековского гаража, но даже если его и подвозили на служебной машине отца к школе, то останавливали ее метров за 200 до учебного заведения — в противном случае мой товарищ подвергался самому жестокому осмеянию одноклассниками: «сынков» (хотя он не был никаким «сынком») презирали. Общество-то было эгалитарным по своей природе — почему и не вполне корректны или поверхностны сравнения путинского и позднесоветского режимов.

Наверное, «селебрити» мог считаться Владимир Юрзинов-младший, сын великого тренера и впоследствии сам неплохой хоккейный тренер, очень недолго проучившийся в нашем классе — вероятно, на каком-то этапе своей кочевой карьеры его отец жил в нашем квартале. У нас был очень хоккейный двор, и спортивные кондиции нового одноклассника никого не впечатлили. И я искренне завистливо досадовал, когда увидел через несколько лет фамилию Юрзинова в составе рижской команды первой лиги «Латвияс берзс». Я болел за рижское «Динамо» и дорого бы дал за то, чтобы оказаться хотя бы в фарм-клубе. Но мой отец, увы, не имел ничего общего с латышским хоккеем, а тренироваться в «Крыльях Советов» — на расстоянии 30 минут езды на автобусе — мне не нравилось. Году в 75-м меня отсматривали в ЦСКА. Подозреваю, что просмотр происходил после приятельского звонка отца кому-то из отдела административных органов ЦК, где среди прочих работали военные, имевшие прямое отношение к армейскому спорту. Но то ли я, не «нюхавший» искусственного льда, не глянулся со своей дворовой хоккейной сноровкой, то ли возить меня было далеко из Кунцева на Ленинградский проспект — армейского хоккеиста из меня не вышло.

А настоящая, «играная» клюшка моего кумира Хельмута Балдериса — финская *Koho*, модель, популярная у игроков сборной СССР, — стоит у меня дома на почетном месте. Награда нашла героя — поклонника латышского хоккея, с которого, вообще говоря, всё и начиналось в Советском Союзе после войны. Именно латыш, Эдгар Клавс, первый капитан и играющий тренер рижского «Динамо», участник довоенных чемпионатов мира в

составе сборной Латвии, первым в 1945 году рассказал московскому спортивному чиновнику о правилах и особенностях «канадского» хоккея.

Но вернусь в военные годы. После неудачного побега на фронт обычная школьная жизнь продолжалась. Я увлекся занятиями в изостудии при Доме пионеров. Рисовал с увлечением, сначала были карандашные наброски, потом занятия по акварели. Натюрморты удавались неплохо. Затем пришло время занятий в театральном кружке, куда нас привела любовь к Театру, любовь к МХАТу, спектакли которого по мере возможности мы посещали регулярно.

Русская классика пленяла нас. Самым любимым спектаклем были «Мертвые души». Затем «Царь Федор Иоаннович», пьесы Чехова, Горького. Мне посчастливилось еще застать на сцене Качалова, Москвина, Тарханова, Ливанова и других корифеев МХАТа в самом расцвете сил.

Не оставалась в стороне и музыка. Я стал «штатным» посетителем Московского театра оперетты. Отсутствие денег на билеты компенсировалось изобретательностью. Все спектакли я смотрел только со второго акта. Несмотря на мороз или непогоду, шел без пальто на площадь Маяковского, где размещался Театр оперетты, и в первом антракте заходил в зал вместе со зрителями, вышедшими в перерыве покурить. Был еще один способ, более сложный: спуститься с улицы через вентиляционное окно прямо в мужскую уборную и далее с независимым видом шагать в бельэтаж навстречу музыке.

Именно в Театре оперетты я впервые увидел советских офицеров в погонах. Это было настолько странно — ведь мы воспитывались в духе ненависти к «господам золотопогонникам». Шел 1943 год, когда по представлению графа-генерала Игнатьева (автора книги «50 лет в строю» или, как тогда шутили, «50 лет в строю и ни одного в бою») были введены форма и знаки различия, позаимствованные у царской армии. Говорят, дисциплина в армии укрепилась, но как-то странно звучали фразы: «товарищи офицеры», «офицерский корпус» и т. п. Вспоминалось чапаевское обращение к бойцу: «Ты для меня прежде всего товарищ, приходи ко мне в ночь, за полночь, это только в строю я для тебя командир».

Времена менялись. Форма вводилась и в гражданских ведомствах, на железной дороге ввели погоны, в министерстве финансов — погоны, и даже в горном институте студенты носили погоны. Если бы Сталин прожил подольше — вся страна обрядилась бы в форму: управлять легче. Значительно позже, в 1952–1953 годах, когда я работал уже в Верховном суде СССР,

неоднократно обсуждался вопрос о форме для судей и даже рассматривались эскизы эполетов, но не успели ввести.

Война была временем ограниченной деидеологизации. Испугавшийся за свою власть Сталин пошел навстречу народу. И прежде всего русскому народу, что следовало из его майского, 1945 года «тоста за русский народ». Будучи поклонником «Дней Турбиных», Сталин, судя по всему, тайно завидовал эстетике белой гвардии, а положение руководителя пролетарского государства мешало ему открыто проявлять свои собственные стилистические разногласия с Советской властью.

Война, как дело не столько большевистское, сколько всенародное, позволила ему включить тумблер под названием «русский патриотизм», и офицерские погоны, конечно, были частью патриотической эстетики. При этом, разумеется, тоталитарные содержание и форма режима никуда не делись, и милитаризация облика профессиональных корпораций стала следующим шагом к окончательному оформлению антиутопии. Страна, превращенная в марширующие колонны облаченных в форму людей, — мечта любого диктатора XX века, цветовое и пластическое воплощение идеи корпоративного государства. И русский патриотизм, превращенный в тотальную ксенофобию и антисемитизм сразу после войны, ничуть не противоречил маршевому ритму дисциплинированных батальонов, разбитых по профессиональным и социальным признакам.

Как говорил персонаж рассказа Набокова «Образчик разговора, 1945», «я белый офицер и служил в царской гвардии, но я также русский патриот и православный христианин. Сегодня в каждом слове, долетающем из отчества, я чувствую мощь, чувствую величие нашей матушки-России. Она опять страна солдат, оплот религии и настоящих славян».

Идеал графа Уварова на практике воплотил Сталин. А граф-генерал Алексей Алексеевич Игнатьев, белый офицер, вернувшийся в Россию, что характерно, в 1937 году, был еще и инициатором создания суворовских училищ. И похоронен он на Новодевичьем кладбище.

Судя по портретам, граф оставался графом, гордо неся на своем лице черты человека нового типа — «красного графа», такой же породы, что и «буржуазные специалисты», только гораздо более адаптивной и напыщенной.

Но вернемся к детским годам. Драматургическое искусство послужило основой для нашего дружеского круга. В 1943 году в районном Доме пионеров в Настасьинском переулке наш драмкружок ставил пьесу, конечно, на военную тему. Наверное, выглядело со стороны это очень смешно, когда я,

пятнадцатилетний, «играл» старика — хозяина избы, которую занял немецкий офицер — в его роли выступал мой друг Володя. Для убедительности я посыпал голову зубным порошком, чтобы волосы стали «седыми», а Володя напевал «Ах, майн либер Августин» и размахивал пистолетом. Самым трудным для меня было произнести первую реплику. Кряхтя, старик говорил: «Разверзлись хляби небесные». Эта не очень понятная фраза вызывала смех в зале. То ли от кряхтения мальчика с засыпанной зубным порошком головой, то ли от попыток понять, что же все-таки здесь происходит: сюжет захватывал зрителей. Офицер покушался на внучку (Галку Усачеву), которая ужасно стеснялась, когда я по роли должен был ее по-дедовски приласкать, и отбивалась от меня, как могла.

Я с диким криком вырывал у немца пистолет и ударял (довольно сильно) его по голове. Офицер падал под стол, и я с внучкой благополучно убегал под аплодисменты зрителей.

В дальнейшем занятия наши стали серьезнее. Кружком взялась руководить актриса МХАТа Софья Семеновна Баратова. Мы узнали о системе Станиславского, сценическом движении, речи и других премудростях и еще крепче подружились. Был разыгран веселый водевиль Ф. Сологуба «Беда от нежного сердца», как нынче сказали бы — мюзикл. Играли весело, увлеченно. Моим отцом по пьесе был Юра Токмачев, очень убедительный купец с усами (которые он до сих пор носит) и бородкой. Невестой и положительной героиней (о, рука судьбы!) была Деля. По роли я ухаживал за двумя очаровательными девушками — Ирой Сулькевич и Аллой Соловьевой.

Наша руководительница усаживалась за пианино, и мы играли пьесу, пели куплеты собственного сочинения и танцевали. Зрелище по тем временам было необыкновенное. Помню заключительную фразу своего героя Александра, решившего все-таки жениться на самой скромной героине Настеньке (Деля Трауб играла ее искренне): «На трех жениться нельзя, а на одной — мало». А оказалось в самый раз. Третья так и прожила со мной до золотой свадьбы.

Третья. Адель Давыдовна Трауб, моя мама. Родители поженились в свои 22 года, в 1950 году. Дружили с поздних школьных лет — судя по студенческому дневнику отца 1947 года, это уже была любовь, старомодно целомудренная. Мама училась в институте иностранных языков имени Мориса Тореза на Метростроевской улице, папа — в Московском юридическом институте. Она — еврейка, не то чтобы из утонченной семьи, но тем не менее: бабушка все-таки училась в гимназии, а затем на Высших женских курсах в Петрограде, ее муж был талантливым,

разносторонне образованным архитектором, учился в Варшавском политехническом, мамин брат стал бы профессиональным художником, если бы не погиб на войне. Семейство моих прадедов — из латышских евреев, занимавшихся лесным бизнесом. Со всеми деталями эмансипации евреев, бегством из Латвии в 1914-м с началом Первой мировой в Тверь. С увлечением социалистическими идеями — до 1921-го дед был близок к меньшевикам. Затем — стандартным приспособлением к новому режиму и советизацией, благо профессия позволяла работать при любом строе. Младшая сестра бабушки, родившаяся в 1912 году, стала уже обычным советским инженером — технарем с безукоризненной гуманитарной домашней самообразовательной базой.

Семья отца была попроще, кто-то считал брак моих мамы и папы мезальянсом: что было, конечно, смешно — какой мезальянс в советском плавильном котле коммуналок? Тонкость состояла совершенно в другом и явно недооценивалась: мама была членом семьи врага народа. Это не то же самое, что ЧСИР — член семьи изменника родины, однако тоже ничего хорошего. Отца это не останавливало абсолютно. Не потому что герой, а потому что любил, считал нормальным. Не было предубеждений, двойных мыслей, второго дна.

Мама любила крупнолистовой чай. И черный хлеб, который посыпала сахаром. Очень хорошо готовила — уж не знаю почему.

В 1946 году, как раз тогда, когда ставилась пьеса «Беда от нежного сердца», дед, Давид Соломонович Трауб, умер незадолго до своего освобождения. За ним поехала в Коми АССР, в Устьвымлаг Генриетта, тетя Геня, та самая младшая сестра бабушки, и — уже не застала. Тете Гене только этого недоставало после гибели мужа в 1941-м и кончины малолетних детей. А у бабушки, Любови Герасимовны (Либы Гершеновны), разлученной с Давидом Соломоновичем с 1938 года, была своя страшная беда — гибель на фронте сына Эдуарда. Ее брат Изя, журналист, погиб в ополчении под Москвой. Эта пляска смертей, в одинаковой степени замешанная на войне и ГУЛАГе, была столь же замысловатой и вездесущей, как и сами родственные связи.

Судя по письмам в поселок Вожаель, где умер дед, пересидев свой срок то ли потому, что ему был запрещен выезд в Москву, то ли по той причине, что уже не мог быть выписан из тюремной больницы, почерк бабушки стал портиться с начала войны. Письма в Вожаель 1939 года еще можно легко читать, потом почерк ухудшался и стал решительно неразборчив с того момента, как в 1943-м погиб на фронте ее трогательный юный сын, мой дядя. Она писала бесконечные письма командиру Эди и

самому Эдюше, в никуда. В глазах остановилось ничем не вытравляемое горе. Даже если на послевоенных фотографиях она улыбалась, то очень сдержанно, глаза же оставались страшно грустными, внутренняя непроходящая притаившаяся боль смотрела и в объектив фотоаппарата. Такой же, немного смущающейся этой постоянной боли, она осталась на фотографии, помещенной на нише закрытого колумбария Ваганьковского кладбища.

В Государственном архиве РФ благодаря хлопотам главы «Мемориала» Арсения Борисовича Рогинского я смог посмотреть следственное дело Давида Соломоновича Трауба. Это не самое веселое в мире занятие. А тут еще, вздрогнув, я обнаружил жалобу товарищу Берии 1945 года, написанную четким маминым почерком, но с подписью бабушки: значит, в то время она уже совсем не могла писать разборчиво, пришлось просить дочь-старшеклассницу, обладавшую четким, почти каллиграфическим почерком…

…После того как «Мемориал» выложил базу данных на почти 40 тысяч сотрудников НКВД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал совсем не в духе XX съезда КПСС — в жанре «и вашим и нашим». Причем не оставив сомнений в том, кто такие «наши»: «Тема весьма чувствительная. Очевидно, что здесь мнения расходятся у многих, существуют диаметрально противоположные точки зрения, причем и те и другие выступают весьма аргументированно».

В чем, интересно, «аргументированность» сталинистов? В том, что нужно было по ложным обвинениям, по плану уничтожать собственный народ? Разумеется, никаких аргументов — моральных или исторических — нет.

Есть аргументы политические, поскольку легитимность власти питается «славной» историей, а в этой истории не может быть темных страниц — о репрессиях можно говорить лишь скороговоркой, как о побочном и несущественном продукте «великой» эпохи.

Никакого национального согласия по вопросу сталинизма в нации нет. Более того, главный водораздел между сторонниками авторитарного и демократического пути развития страны проходит именно здесь — при обсуждении сталинских репрессий. Да, вождя более полувека тому назад вынесли из Мавзолея, но тело его еще покоится у Кремлевской стены, держит за горло потомков сталинской номенклатуры и вымораживает мозги и души сразу нескольким поколениям постсоветских людей.

Никакого развития страны не будет, пока не пройдет третья волна десталинизации — после первых двух волн в оттепель и

перестройку.

Есть, разумеется, и глубоко частный аспект этой истории. Для кого-то какой-нибудь сержант НКВД — кровавый палач, не задумываясь, стрелявший в затылок. А для кого-то — прадедушка, чей портрет при полном параде и орденах висит на стене. Для кого-то лейтенант ГБ — подонок, избивавший подследственного на допросе, а для членов семьи — уважаемый ветеран, защищенный георгиевской ленточкой, как волшебным оберегом.

Понять людей, готовых защищать своих предков-палачей, можно. Человек вообще не одномерное создание — убийца может быть в чьих-то глазах одновременно добрым дедушкой, с которым связаны теплые воспоминания о детстве. Но это не отменяет ничего: убийца остается убийцей, и вина его не снимается, а усугубляется тем, что он действовал по приказу государства.

Пример симптоматичной человеческой драмы появился сравнительно недавно, когда внучка сотрудника томского отдела НКВД Николая Зырянова узнала о том, что ее дед был настоящим палачом, притом что ее же прадед по материнской линии был репрессирован: «Я не сплю уже несколько дней… Умом я понимаю, что я не виновата в произошедшем, но чувства, которые я испытываю, не передать словами… Вот так сейчас и выяснилось, что в одной семье и жертвы, и палачи… Но я никогда не стану открещиваться от истории своей семьи, какой бы она ни была».

Память невозможно отбить — ни кулаком, ни телевизором. С помощью базы «Мемориала» — сайта *nkvd.memo.ru* — я нашел практически всех сотрудников НКВД, фамилии которых встречаются в следственном деле моего деда Трауба Давида Соломоновича.

Уже через два года после смерти тирана Давида Соломоновича реабилитировали, причем в деле, которое было рассекречено только в 1999 году, есть показания найденных в 1955-м прокуратурой двух из трех людей, оговоривших его. Они признают, что сделали это под жесточайшим давлением следователя. Собственно, в своих жалобах Лаврентию Палычу Давид Соломонович сообщал, что подписал нелепый и безграмотный протокол допроса (единственного, естественно) по той же причине.

О следователе Пильщикове Сергее Петровиче, делавшем акцент на том, что дед представлял собой мелкобуржуазный элемент — «занимался торговлей», хотя он работал архитектором в системе Наркомлегпрома и при обыске у него были изъяты «чертежи типовой бани», известно, согласно базе «Мемориала», совсем мало. Главное, неясно, чем, как и где закончил он свой путь. Есть только данные о том, что на момент допроса он был

помощником начальника 3-го отделения 4-го отдела УГБ УНКВД по Мособласти, а затем очень быстро стал замначальника того же отделения.

О других известно больше. Хотя, что характерно, документы того времени — от постановления об избрании меры пресечения и протоколов допросов до обвинительного заключения и ответов на жалобы осужденного и его родственников — подписывались фамилиями без имен и отчеств.

Как будто эти люди не хотели быть узнанными и найденными в будущем. Ну, мало ли в России Ивановых, Никитиных, Афанасьевых — их по несколько десятков служило в системе НКВД.

И я, например, так и не понял, какой из двух Фомушкиных, находящихся в базе «Мемориала», забирал моего деда, перепутав в постановлении об избрании меры пресечения всё: фамилию, национальность, номер дома. Может быть, это тот Фомушкин, который потом, согласно базе данных, служил в Смерше и получал за это ордена?

Только на постановлении даже нет его подписи. А есть множество других подписей, неразборчивых, как у врача, выписывающего рецепт. Идентифицировать подписи сложно — как будто упомянутые лица под грифами «согласен», «утверждаю» разделяли ответственность друг с другом. Или, точнее сказать, перекладывали ее друг на друга. Или, еще точнее, помазали друг друга кровью. Это круговая порука в чистом виде, как если бы никто целиком не был виноват. Выполняли приказ. А виновата система. Или они уже тогда понимали, что спустя десятилетия попадут в какую-нибудь «базу»?

Вот подпись на этом документе, где всё перепутано, сделанная карандашом. Капитан госбезопасности Папивин. Его фамилия напечатана под грифом «согласен». Он, Папивин Андрей Алексеевич, прошел славный путь. И даже в 1985 году была награжден орденом Отечественной войны. Ветеран.

А вот нерасшифрованная подпись. Но я ее расшифровал. Она появляется потом на обвинительном заключении по следственному делу № 2180 по обвинению Трауба Давида Соломоновича по ст. 58, п. 10 УК РСФСР. «Утверждаю», зам. нач. управления НКВД по МО Якубович. Его, Якубовича Григория Матвеевича, спустя несколько месяцев, незадолго до падения Николая Ежова, арестуют, потом, уже при Берии, расстреляют. В послесталинское время в реабилитации будет отказано.

И еще одна фамилия на постановлении об аресте. Замнарком внутренних дел Заковский: «Утверждаю». Самая высокая инстанция в следствии. Леонид Михайлович Заковский, он же

Генрих Штубис, латыш, одногодка моего деда и земляк — из Курляндской губернии. Легендарная личность: проводил железной рукой коллективизацию в Сибири, депортировал кулаков, руководитель расследования убийства Кирова. Возможно, моего деда и забрали по спущенному Заковским плану арестов более тысячи «националов» в Москве и Мособласти. В это самое время он стал членом образованной коллегии НКВД, но спустя несколько недель — арестован и расстрелян. Не реабилитирован.

А вот подписавшие обвинительное заключение. Сержант Никитин. Яков Григорьевич, как следует из базы. В 1943-м он уже майор ГБ, получил медаль «За боевые заслуги», умер в 1956-м. Отпечатана здесь и фамилия Персица. Михаила Иосифовича вскоре расстреляют и не реабилитируют. Но совершенно не очевидно, что подпись именно его — она крайне неразборчива. Притом что Персиц — капитан ГБ, а поверх слова «капитан» чернилами написано «мл. лейтенант». Может, Персиц в этот момент куда-то вышел…

Кажется, эти люди подписывали бумаги по кругу — механические движения исполнителей, роботов, запчастей, причем взаимозаменяемых, машины, которую никто не мог остановить. Но главное, что они все равно оставляли следы — подписи и фамилии. Многочисленные псевдонимы машины террора. Псевдонимы, за которыми укрывалось преступное государство.

На скольких отказах в пересмотре дел стоит, например, подпись Боровкова Ивана Ивановича, многолетнего замначальника секретариата Особого совещания, зловещего ОСО, крушившего судьбы в буквальном смысле без суда и после того, что можно было назвать «следствием» лишь метафорически.

Они ведь даже сами не отвечали осужденному. Писали служебную записку с отказом в 1-й спецотдел НКВД, а те уже сообщали в Устьвымлаг НКВД, передававший информацию непосредственно в лагерь.

В 1938-м ОСО осудило, согласно справке, которая было подготовлена в свое время для Хрущева, 45 768 человек. Пиковая цифра по тем временам, Большой террор. Больше — только в 1942 году, очень много, но меньше — в 1949-м, что отражало послевоенную паранойю старевшего Сталина, а в 1952-м — «всего» 958 человек.

В 1954-м Боровков лишился всех должностей. В 1967-м покончил с собой. Вероятно, потому, что доверие партии не было восстановлено. Но в секретариате ОСО работал же не только этот выходец из рабочих-текстильщиков, который стал членом

Верховного суда РСФСР в 31 год после ускоренного обучения тому, что условно можно было назвать юриспруденцией. Например, оперуполномоченной секретариата ОСО старшего лейтенанта Афанасьевой нет в списках «Мемориала». И сколько их таких, мелких сошек, имя которых неизвестно, подлости и преступления которых неисчислимы, даже если они всего лишь занимались документооборотом?

Но ведь это они писали об умиравшем в ГУЛАГе человеке, которому до официального окончания восьмилетнего срока оставалось несколько месяцев, и еще можно было спасти его жизнь: «Из вновь поступившей жалобы от Трауб необходимости в пересмотре решения по делу не усматривается».

Унылый исполнитель механически пишет это от руки, отдает в окошко машбюро, потом несет отпечатанную бумажку на подпись. Утомленный Боровков подписывает, не глядя, эту кипу бумаг, ощущая приятную мягкость зеленого сукна стола… Шестерни системы крутятся, крутятся, крутятся, наматывая на себя сотни тысяч жизней. И это оказывается смертным приговором для невысокого лысого архитектора, который всё чаще и чаще попадает в тюремную больницу, а потом в ней же и умирает. И остается только бумажка в деле. Называется «Извещение об убытии из лагеря-колонии». Извещение, которое не было послано никуда и никогда — на этом месте стоит прочерк. Так мне хотя бы стала известна дата смерти.

Вот и вся история, человеческая, очень человеческая. Одна из миллионов. Имеющая прямое отношение к так называемой демографической ёлке — возрастно-половой пирамиде населения России, где есть характерные сужения и провалы, заложившие на десятилетия вперед неискоренимый тренд на депопуляцию в нашей стране.

…И вот я, сидя в читальном зале ГАРФа, долго не могу прийти в себя, обнаружив бабушкину жалобу, написанную рукой мамы. И, в сущности, не могу прийти в себя до сих пор.

А «Мемориалу», нашему дорогому «иностранному агенту», поклон земной. И за базу палачей из НКВД, и за возможность хотя бы назвать всех или почти всех поимённо, и за то, что Арсений Борисович Рогинский лично нашел дело моего деда в Госархиве. Великий Арсений Борисович, которого мы провожали в открытом гробу в декабре 2017-го, в холодный и снежный день, на старом Введенском кладбище. Арсению Борисовичу был 71 год. Он вышел из выдающегося поколения. Но даже в нем сложно найти человека, соразмерного Арсению Борисовичу по масштабу и обаянию.

Однажды на одной из конференций он сказал со знанием

дела: «У зэков есть поговорка, она звучит так: „А что менты о нас говорят, так это нам по…“. Однако лагерь — это ограниченное число людей. А когда о вас на всю страну говорят, что вы иностранный агент, то есть шпион, — это чудовищное унижение». Весь опыт жизни Рогинского, родившегося в Вельске Архангельской области, в месте поселения его отца, — это опыт сопротивления несправедливости. Ему было предложено покинуть страну, он отказался и — сел на 4 года, оттрубив весь срок полностью и выйдя на свободу прямо к началу перестройки. Рогинский прославился своим последним словом на суде — «Положение историка в Советском Союзе», в котором речь шла в том числе об исторических архивах. Потом Рогинскому пришлось заниматься архивами дел, заведенных на миллионы советских людей.

Делом моего деда он заинтересовался еще и потому, что сидел в том же Вожаеле, возможно, в тех же бараках.

Технологию описывать не буду, но номер архивного дела мы благодаря Арсению Борисовичу знали заранее, еще до запроса в соответствующий архив. Именно так — упреждая оппонента ли, противника ли на несколько шагов — Рогинский боролся с государством и, когда надо, работал с ним. «Не верь, не бойся, не проси» — но при этом Арсений Борисович был одним из двигателей процесса установки «Стены скорби». Если государство согласно — так пусть сделает хотя бы часть доброго дела.

Он знал цену и сталинскому государству, и послесталинскому, и ельцинскому, и нынешнему. «Вы что думаете, — говорил Рогинский, — архивы вот так вот и открылись во времена Ельцина? Ничего подобного». Он принадлежал к той категории людей, которым, по его собственным словам, власть всегда «или что-нибудь приписывала, или что-нибудь прощала». Причем после короткого перерыва вернулась к этой практике сегодня. И Рогинскому пришлось продолжить сопротивление. Жизнь сделала круг. Выходя во дворик «Мемориала» с пачкой «Парламента найт блю», он рассуждал о том, как защитить свою организацию. Если называть вещи своими именами — как спасти память о репрессированных государством. Кстати, диссидентские сборники, за которые сел историк Рогинский, так и назывались — «Память». Государство, неистово сражающееся до сих пор за тотальную историческую амнезию и доведение истории до плаката и комикса, было и осталось врагом Арсения Борисовича, который эту память тихо, покуривая и иронизируя, но с железной последовательностью восстанавливал. По крупицам — размером с человеческую жизнь.

В некотором смысле Рогинский был сторонником «невидимой

руки рынка». В том смысле, что понимал ошеломляюще гигантскую роль Сталина — человека, мифа, бренда — в прошлом и настоящем нашей страны. «Уберите Сталина из нашей жизни, тогда воровство и бардак исчезнут сами собой». Скажете — упрощение. А может быть, попробовать еще раз — после Хрущева и Горбачева, — но на этот раз по-настоящему, и посмотрим, что получится?

Рогинский был из тех, кто ощущал себя свободным в любых обстоятельствах. Советская власть считала его антисоветчиком, а он просто был внесоветским человеком, патриотом истерзанной страны, защитником ее частной памяти от монопольного «права» государства на насильственное забвение преступлений и жестокости.

Даже в том, что Арсений Борисович до последнего курил, как паровоз, а чтобы заснуть, пил кофе на ночь, можно было усмотреть принципиальное сохранение внутренней свободы. В 1980-е в камере-одиночке через дырку в стене от соседей-зэков он получил пачку «Примы», спички и чифир. Куда уж этому государству запретить Рогинскому курить…

Незадолго до кончины Арсения Борисовича мы поговорили с ним по телефону из квартиры его близких друзей Лены Немировской и Юрия Сенокосова. Голос его, несмотря на почти год тяжелейшей болезни, был таким же — с бархатной хрипотцой, размышления — как всегда одновременно ироничными и серьезными. Вполне твердо он мне сказал, что скоро мы встретимся в Москве. Точно так же Арсений Борисович успокоил друзей в своем последнем слове на суде в 1981-м: «Пожалуйста, не волнуйтесь за меня. Скоро мы сможем писать друг другу письма. И вообще, время быстро летит…»

Не то слово, дорогой Арсений Борисович, очень быстро…

История не закончена, потому что не было покаяния. Потому что государство покрывает и славословит тех, кто осуществлял массовые убийства, и преследует тех, кто хранит память о жертвах ГУЛАГа. И потому что не все внуки, как Торнике Аравидзе из фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние», вышвырнули, хотя бы мысленно, тела своих дедов-убийц из могил.

…Ну, а что же до пьесы Сологуба, то она разыгрывалась, когда родителям было почти 18 лет. Страстный театрал, отец составил целый фотоальбом, наполовину посвященный этой постановке. Папа именно в этом возрасте был невероятно похож на моего старшего сына (то есть наоборот). Примерно в той же степени, что мой младший сын — на меня.

Спектакль ставился на сцене Дома пионеров Свердловского района. На одной из фотографий Софья Баратова, по виду

женщина немногим старше актеров-любителей, дает ценные указания…

Они, послевоенные юноши и девушки, постоянно дурачатся, общаются, ставят пьесы, дарят друг другу книги и стихи-посвящения, пишут записи в альбомы девушкам, как если бы на дворе было не позднесталинское время, а церемонная дореволюционная эпоха. И всё это на фоне постоянной опасности для жизни, смертей и лагерей, в декорациях, отнюдь не театральных, полновесного тоталитарного режима. И ничего этого в повседневности не чувствуется или почти не ощущается. Почему?

В Грузии я посмотрел документальный фильм режиссера Ланы Гогоберидзе, ровесницы моих родителей, представительницы номенклатурной семьи — Леван Гогоберидзе был крупным партийным чиновником, очень короткое время — даже первым секретарем Компартии Грузии. Его расстреляли в 1937-м. Забрали маму Ланы (щемящая — и неловкая — сцена ее возвращения из лагерей почти документально передана в фильме Гогоберидзе, весьма популярном в советские времена, — «Несколько интервью по личным вопросам»), уничтожили дядю. В фильме режиссер рассказывала о своем поколении, о том, как оно жило во время войны и после нее. Она вспоминала, что в ее компании, несмотря на трагические обстоятельства, всё время смеялись и веселились. Гогоберидзе вспоминает слова Мераба Мамардашвили о «трагическом веселье» грузинского народа. Вероятно, это трагическое веселье было свойственно не грузинам, а поколению. И было обусловлено обстоятельствами времени — служило детям военно-гулаговского поколения компенсацией ужасов эпохи…

Соприсутствие родителей я ощущаю почти всё время. Однажды я лежал на кровати с только что проснувшейся пятилетней дочкой. Утренний белый зимний свет сочился сквозь жалюзи, как когда-то в моем детстве сквозь занавески. Я держал девочку за руку и отчетливо ощутил, что стал… проводом, посредником, передаточным звеном: они *оттуда* смотрели на малышку и, может быть, с помощью моей руки ласкали ее. Она и сама лежала тихонечко, боясь спугнуть нашу тайну.

Мамина ближайшая подруга, Эмма Мхитарян, незадолго до своей кончины говорила мне: «Со мной происходит что-то странное. Я совсем не чувствую, что Деля умерла. Я всё время с ней разговариваю. Просто мы не встречаемся, а так она — рядом».

Это соприсутствие иногда напоминает о себе в острых, как стыд, снах. Во сне мама предлагает мне съехаться. Оказывается, в

продажу поступила наша старая квартира. Мечта-вина о возвращении. Или напоминание об уже почти возможном окончательном воссоединении?

Старики из этого — и чуть более старшего, и чуть более младшего поколения — интересны мне больше всего. Как минимум так же, как поколение моего старшего брата, генерация родившихся в конце 1940-х — начале-середине 1950-х, среди которых несколько моих по-настоящему близких друзей. Поэтому я люблю не столько разговаривать, сколько слушать, например, Бориса Жутовского и Алексея Симонова, Юрия Сенокосова и Лену Немировскую. Эффект присутствия Мераба Мамардашвили я ощутил в тбилисской квартире, где живет его сестра Иза Константиновна, обеспечивавшая его спокойное творческое существование в течение последних десяти лет жизни. Всё это попытки поймать время и воздух родителей…

Однажды я посещал Александра Яковлевича Аскольдова, режиссера затравленного фильма «Комиссар», который мне всегда страшно нравился. Высокий красивый старик с ясным умом. Жена, режущая привезенный из Швеции сыр. На три года младше моих родителей — они могли бы еще жить… По мере того как Аскольдов рассказывает, погружается в прошлое, говорит, что чувствует людей 1930-х годов (как я — 1960-х), его лицо стареет.

Рассказ бесконечен, ведь рана, нанесенная запретом и преследованием фильма, так и не зажила, а только оказалась еще больше «расчесанной», точит его. Притом что почти полвека прошло с 1967-го, когда он снял «Комиссара». Знал всех номенклатурных деятелей — от помощников Суслова до главы отдела пропаганды Степакова.

И я по ходу разговора всё время сопоставлял жизнь родителей с его жизнью. Так я однажды сравнивал старика, сидевшего напротив меня в старомодном, из шестидесятых, кабинете на 16-м этаже нью-йоркского небоскреба на 44-й улице между 5-й и 6-й авеню, с отцом. Старика звали Морис Темпельсман, он был последним другом Жаклин Кеннеди — как-то странно было бы назвать этого невысокого, полноватого, в костюме и галстуке, с очень обаятельной улыбкой человека «бойфрендом». На год младше отца. Алмазный король, сделавший состояние на африканских камешках. Его ничто не объединяет с человеком, двадцать лет подряд входившим каждое утро в седьмой подъезд здания ЦК в столице красной империи на другом конце земли. И в то же время мне кажется, что эти два человека сопоставимы и в чем-то даже близки. Темпельсман — воплощение той Америки, которую я воображал себе в детстве,

где главными действующими лицами были Никсон и все, кто его окружал, а по улицам ходили карикатурные и в то же время привлекательные персонажи Херлуфа Бидструпа. Америки, кажется, не сохранившейся более нигде, только в этом угловом кабинете с двумя стеклянными стенами. Здесь много книг, конечно же, альбомов об Африке, старая секретарша, по-человечески, то есть крепко заваренный в чайнике чай. Совершенно невозможно поверить, что этот человек — нить к Кеннеди и что он — миллиардер. Смотрю на его улыбающееся лицо и думаю об отце, о шестидесятых… Играю, играю, играю до бесконечности в игры со временем, даже в этом странном месте.

Ищу это время во всём. Даже хоккей как главная игра детства становится инструментом поиска. Катание по льду как возвращение в детство. Как у Набокова — возвращенное ощущение ручки коляски усилием говорящей памяти, так и здесь — ощущение клюшки в руках. Соревнование со временем с помощью мышечной памяти. Просмотр черно-белых записей хоккейных суперсерий с канадцами — охота на прошлое.

Посещение дворов. Блуждание по переулкам. Чистопрудный бульвар, живой организм, несущий в себе миллионы памятей миллионов людей — чего только не насмотрелся Грибоедов на этом трамвайном полукруге; остановка «Большой Харитоньевский», здесь — прямо и направо — прожила в коммуналке, в крошечной комнатке окнами во двор-колодец всю жизнь тетя Соня, которая, конечно, тетя, однако, кажется, двоюродная, и не мне, а маме. И мы с мамой регулярно навещали ее, добираясь зачем-то на громыхающем трамвае, хотя дойти от метро туда — минут десять. Портрет Рейн Софьи Израилевны пера замечательного художника Тамары Рейн. «Ощутим физически» раскладной стульчик. Запах старости, секундные тени бабочек — черно-белое на цветной картинке, групповые наплывы шевелящейся листвы, ветерок одним махом собирает запахи леса и луга и несет пожилой женщине весь этот роскошный букет. Где-то в интернете я наткнулся на запись в Госархиве — Софья Израилевна Рейн в 1918–1919 годах работала в Наркомпросе РСФСР. Для меня она была важным персонажем внутри детской жизни, потому что из всего сонма еврейских родственников, наряду с тетей Геней, это был самый часто и специально посещаемый человек. Почему — это мне неизвестно. Получалось этакое трио еврейских бабушек: собственно бабушка, тетя Геня и тетя Соня.

И снова — карта города меняется, как в «Яндекс. Транспорте», блуждания по «гетто» Чистопрудный-Покровский продолжаются. Ускользающая картинка, исчезающие ощущения.

Попытка вспомнить, угадать, где жили родственники в Потаповском. Это там был старый-старый стол со скрипучей душой, приглушенный рембрандтовский свет и огромная желтовато-оранжевая лампа с бахромой — как положено в старой коммунальной Москве или в мифе о старой коммунальной Москве? Или не там? Или это было в старой квартире тети Гени в Казарменном переулке, где она жила до переезда в микрорайон Вешняки вместе со своими родителями, то есть моими прабабушкой и прадедушкой, умершими в 1950-х?

Иду проходным двором из Дегтярного в Старопименовский, маршрутом отца, воровавшего дрова или идущего в школу, и пытаюсь угадать, какое окно — «наше».

Ищу это время в книгах. Не столько в содержании, сколько в их внешнем образе — ведь они свидетели.

Иногда благодаря книге — всполох, фрагмент случайного воспоминания и интерьера, по которому можно восстановить почти полную картину. В гостях у родственников: зеленые тома Диккенса, шахматы, отлакированные руками игроков, уют старой Москвы и интеллигентной советской семьи. Старая книга — это тоже уют. Как будто попадаешь домой, в детство или даже в преддетство — в год издания. Книга хрустит, пахнет, отдает время.

Запоминаются: вид из окна на бесшумный снег — с тех пор я люблю снегопад, подсвеченный фонарями и окнами домов, потому что он дает ощущение детства, покоя и защищенности, путешествия во времени; огни города, словно приклеенные к черной цветной бумаге; свет настольной лампы; глянцевая, как большая пуговица, кнопка нарочито шумного лифта, дверь которого гремит, как тюремная; картинки из детских книжек.

Именно образы из детских книжек имеют значение. Мандельштамовское, из 1908 года: «Только детские книги читать, / Только детские думы лелеять».

Прежде всего впечатывалась в память манера Владимира Конашевича: словно неуверенная, дребезжащая кисть, кудрявая линия. И его краски — густой синий цвет моря, куда бросили бочку с царевной; ярко-изумрудный — с белочкой, грызущей орехи, и сумрачной елью. Иногда в рисунке просвечивала притворная небрежность. (Но не в иллюстрациях к сказкам Пушкина.) А какой он замечательный, как выяснилось, был мемуарист…

Иван Билибин — совсем из венского модерна, отнюдь не русский народный, страшный и мрачный, каковыми на самом деле и являются русские народные сказки, похожие на тяжелый сон. «Мойдодыр» Юрия Анненкова — не похожий на упрощенного

мультяшного, сложносоставной, способный остановить даже самый невнимательный детский глаз россыпью необычных деталей. Легкие размашистые линии Мстислава Добужинского — однажды я нашел на своей особенно удачной букинистической охоте второе издание «Трех толстяков» с его вклеенными иллюстрациями. Четкая подробная линия Константина Ротова, впервые увиденная в «Приключениях капитана Врунгеля». «Доктор Айболит» с антропоморфными зверями Владимира Сутеева, радующимися и страдающими, как люди. Канонический Буратино Леонида Владимирского — действительно деревянный, с живой крупной стружкой, и его же команда из «Волшебника Изумрудного города». Валерий Алфеевский, слово рожденный для того, чтобы иллюстрировать сказки народов мира, — в его линии всё было какое-то североевропейское. Узнаваемый издалека Федор Лемкуль. Иван Семенов с мельчайшими подробностями старого советского быта в картинках к рассказам Носова. Генрих Вальк, в иллюстрации которого проваливаешься, как в «шумную, веселую, весеннюю Москву». Те же приметы, детали, вещи времени — у Германа Мазурина, Аминадава Каневского, у целой плеяды иллюстраторов, которых узнавали по «Веселым картинкам» — от Юрия Узбякова до Марка Вайсборда. Самый популярный и с самой запоминающейся фамилией, словно специально придуманной для детской книги, — Виктор Чижиков, навеки вынужденно прикованный к образу олимпийского Мишки. Владимир Лебедев, главный партнер Самуила Маршака, универсал, который легко менял стили. Алексей Пахомов, подробно выписывавший анатомию детей и взрослых 1920-1930-х — он рисовал их ровно такими, какими они были, от них за километр несет советским детским садом и пóтом пассажиров переполненного трамвая. Сергей Чехонин — не Корней Чуковский был антисоветским в «Тараканище», а художник, нарисовавший иллюстрации к нему — все эти пугливые зады парнокопытных. Михаил Майофис — какой у него пастельный ливень на иллюстрации к детскому стихотворению Майи Борисовой «Интереснее пешком». Экономные в деталях, но не в размашистых линиях Виктор Горяев в «Денискиных рассказах» и Лев Токмаков в «Пеппи Длинныйчулок».

Мне хотелось, чтобы мои дети смотрели на те же картинки, на которые смотрел и я сам. Чтобы картинки моего и их детства совместились. И у нас было немного общих воспоминаний. И радости узнавания.

Тяга к театру у меня была всегда. Кроме зрительских ощущений, я всерьез занимался теорией и историей театра, ходил по абонементам на лекции в МГУ, внимательно изучал труды

Станиславского. Так что в теории я был готов к сцене, «всем» было ясно, что перед ними — будущий актер… Но жизнь распорядилась иначе.

На экзаменах, которые я сдавал в Школу-студию МХАТ и Щукинское училище, мне вежливо говорили «достаточно» после невнятно произнесенных стихов и прозаических отрывков. Оказалось, что у меня плохая дикция, но я-то знал истинную причину — глубокая стеснительность сковывала меня невероятно, и здесь не помог мой небольшой опыт выступлений на подмостках, а преодолеть свой страх и волнение до слез я так и не смог. Не было у нашего бедного семейства и ближайшего окружения и того, что в быту именовалось «блатом». Всё рухнуло. Это первое в моей жизни поражение многое отравило в дальнейшем.

Пришлось думать о другом пути. А значит, о дороге папы — в юридический. И в 1947 году я поступил в Московский юридический институт. Это был год массовой демобилизации из победоносной армии. Многие фронтовики, за время войны перезабывшие свои школьные знания, решили, что проще всего поступить на юридический, где не надо было сдавать физику, химию, математику. Тем более что фронтовики принимались вне конкурса, да и на вступительных экзаменах преподаватели относились к ним снисходительно и даже почтительно. Зато среди нашего брата-школьника был ужасающий конкурс, примерно как в театральные вузы — до 50 человек на место.

Успех на экзаменах мне был обеспечен после сочинения. Я писал, конечно, на свободную тему по поэзии Маяковского, которого не просто хорошо знал, но даже зрительно помнил все его лесенки, что и воспроизвел в экзаменационном листе, боясь только одного: как бы преподаватели не заподозрили меня в списывании, поскольку я совершенно точно воспроизвел ломаные строки цитат из стихотворений. Благоприятное впечатление от моего письменного сочинения обеспечило снисходительное отношение комиссии на экзамене по русскому языку и остальных по инерции. И вот я вижу в списке принятых на 1 курс «Б» свою фамилию.

Отец очень любил поэзию, как мог любить ее вполне верноподданный мальчик военной и послевоенной эпохи. Конечно же, его главным поэтом был Маяковский. На одной из юношеских фотографий отец подражает ему: несколько осоловелый мрачный взгляд, пальто, кепка, прилипшая к губе папироса. И в самом деле невероятно похож, не говоря уже о том, что папа был высокого роста. Ему нравился Маяковский — весь. И ранний, и зрелый советский.

Дома была очень большая поэтическая библиотека. Не было Пастернака из «Библиотеки поэта» 1965 года издания. Зато были (и остались) синие тома этой серии Мандельштама 1973 года и Ахматовой 1976-го, которые уже в подростковом возрасте очень помогли в моем становлении. Я даже знаю, почему отсутствовал мой идол Пастернак и присутствовали Мандельштам и Ахматова. Номенклатурные работники могли получать дефицитные книги по спискам так называемой Книжной экспедиции. В 1965-м у отца еще не было доступа к этой привилегии. А в 1970-е, в ЦК, естественно, доступ к книжному дефициту уже был. Мандельштам оказался планово дефицитным: 15 тысяч экземпляров по советским масштабам это вообще ничто. Ахматова — уже 40 тысяч экземпляров, хотя том стоял в плане выпуска на 1975-й, а в печать был подписан в самом конце 1976-го.

А так, конечно же, в соответствии с духом времени он был поклонником Евтушенко и Вознесенского, Окуджавы и Ахмадулиной — почти все значимые сборники наличествовали в родительской библиотеке. Растрепанный мягкий сборник «Треугольная груша» с автографом Вознесенского уже у меня украл в студенческие годы один неудавшийся поэт. В столь же зачитанном состоянии, как будто он ходил по рукам, — «Март великодушный» Булата Окуджавы 1967 года. И почти все под редакцией Виктора Фогельсона, знаменитого редактора отдела поэзии «Совписа», человека с красивым лицом успешного зарубежного кинематографиста. Это такой же человек-легенда, как Карл Арон в «Детгизе» или друг отца Александр Бененсон, еврейский талисман русопятого издательства «Советская Россия»… Но особенно папа любил Ахмадулину. Многие ее стихи знал наизусть (впрочем, как и я, зачитавший в подростковом возрасте до дыр сборник «Свеча» 1977 года, фиолетовый такой). В ходе застолий хорошо шли «смутно виноградом пахли грузинских женщин имена». И веселая попса из Евтушенко: «А свои размышленья про чачу я уж лучше куда-нибудь спрячу». Эти стихи папа переписал откуда-то в свою записную книжку. Откуда — непонятно. Кажется, в многочисленных собраниях сочинений Евтушенко и разрозненных сборниках его стихов, хранящихся в нашей библиотеке, этого стихотворения про чачу нет.

Сейчас трудно представить, но на первый курс было принято сразу около 600 человек — стране требовались юристы. Курс был разделен на два потока — «А», который мы презирали как белую кость, и наш, «пролетарский», — «Б».

Началась новая полоса жизни — довольно сложная учебная программа, бурная комсомольская жизнь. Практически всё

диктовали фронтовики, в основном члены партии. Уже на первом курсе у нас была серьезная парторганизация и соответствующая комсомольская. В нашей 48-й группе сосредоточилось всё курсовое начальство — и секретарь комитета комсомола института Боровский, и председатель институтского профбюро, и члены парткома. Так что первые зачатки общественной работы нам преподали фронтовики — бывалые партийцы, с которыми мы подружились сразу и на деловых началах.

«Школьники» были распределены по пяти группам фронтовиков, и мы занимались вместе, готовясь к семинарам, зачетам, экзаменам. Это давало хорошие результаты и было особенно полезно для нас, на практике познавших школу солдатской дружбы и товарищества. Боевым комсоргом группы был Дима Левенсон, впоследствии известный адвокат. Мы дружим до сих пор.

Отец был хорошим другом. И дружил с очень разными людьми. И все относились к нему с теплотой. Костяк ближнего круга составляли одноклассники. Склеивала восторженную дружбу в том числе и отцовская гитара.

Кроме Дмитрия Соломоновича Левенсона я не припомню среди близких друзей отца кого-либо из однокурсников. Причем адвокат, ставший потом для меня кем-то вроде интеллектуального и духовного наставника, дружил с папой отдельно, вне компаний. Да и сам был абсолютно отдельным, несоветским человеком внутри советской системы. Это стало возможным благодаря тому, что адвокатская система существовала несколько наособицу. Дмитрий Соломонович каким-то образом ухитрялся бывать за границей, на всю жизнь вбил мне в голову, что лучшая валюта — швейцарский франк, а кроме того, привозил из Франции удивительные губки для мытья посуды, которые можно было долго разглядывать и трогать их шершавую волокнистую темно-зеленую поверхность. И совсем страшно было этим чудом западного образа жизни мыть посуду…

Друзей, которые появились после школы и института, было совсем немного. Анатолий Лукьянов, сослуживец отца, очень рано ставший чиновником первого ранга, приближенным к высшему руководству. Книжный редактор Александр Бененсон, тоже юрист по образованию, но окончивший МГУ, — он открыл если не самого Юлиана Семенова, то его «Бриллианты для диктатуры пролетариата», которые издал вне плана выпуска в 1970-м в «Советской России». Потом они с Семеновым запускали газету «Совершенно секретно», и первая моя журналистская публикация о деле Синявского и Даниэля (на всякий случай под псевдонимом) появилась именно там в 1989-м. В 1990-е

Александр Наумович возглавлял книжное издательство «Совершенно секретно» и даже предлагал мне его заменить, демонстрируя для убедительности служебную «Волгу». А я редактировал для него мемуары советских шпионов, ругаясь с одним из авторов по поводу фрагмента о его случайной связи с Майей Плисецкой — мне это казалось неправдоподобным, и воспоминания отсидевшего свое Владимира Сушкова, заместителя министра внешней торговли СССР, — я назвал их «Заключенный по кличке Министр»… В какой-то степени близким товарищем отца стал композитор-песенник Павел Аедоницкий — важное человеческое приобретение как результат отдыха в Прибалтике. Эльмар Матт, высокий чиновник в номенклатурной иерархии советской Эстонии, обладатель феерических человеческих качеств, добросовестности и ума, стал, пожалуй, последним из настоящих поздних друзей нашей семьи. Во многом этот странный интернационал — Левенсон, Бененсон, Матт — сформировал меня интеллектуально.

В общую же компанию старых школьных друзей и их жен влились только Лукьянов и американист Юрий Мельников, чей сын стал моим ближайшим другом и квартира которого на «Юго-Западной» превратилась в мой второй дом. Интимными друзьями отца со школьных лет оставались врач-хирург Юрий Токмачев и историк Владимир Митяев, который уже неоднократно упоминался в мемуарах. Братство на троих подкреплялось регулярными побегами «на природу» — походами с палатками и котелками, в кедах и шароварах… Следы этого великолепия болотно-рюкзачного цвета можно было найти потом на антресолях…

Разночинная интеллигенция, чиновники, интеллектуалы-евреи, советский академический слой — всё смешалось в этом кругу. В этой, в определенном смысле, несущей конструкции позднего советского строя — с его иллюзиями и надеждами на развитие, а затем исчерпывавшимся ресурсом существования.

Папа и Дмитрий Соломонович Левенсон часто спорили, в том числе на политические темы. Отец оставался несгибаемым сторонником правоты «нашего строя», Левенсон был отъявленным, вечно иронизирующим антисоветчиком. Во время одного из яростных споров о родной коммунистической партии Дмитрий Соломонович, бывший «боевой комсорг», примирительно сказал: «Знаешь что, Володя, давай будем считать, что мы с тобой просто принадлежим к партии хороших людей».

Кто же не согласится с таким предложением? А сам термин — «партия хороших людей» — я запомнил на всю жизнь…

Кстати, Левенсон не уехал только потому, что внутри адвокатской корпорации были особый микроклимат и чуть ли не моноэтничность. А доходы адвоката и круг общения позволяли проживать интересную жизнь здесь, а не за бугром. Пожалуй, гораздо более интересную, сдобренную еще к тому же внутренней фрондой по отношению к режиму. Что придавало жизни вкус приключения.

Годом позже в Московский юридический поступил Борис Золотухин, будущий знаменитый адвокат и друг Дмитрия Соломоновича — а вот с отцом, кажется, они не были знакомы. Ранняя биография Бориса Андреевича очень напоминала папину: детство на Дальнем Востоке, военная Москва, поступление в МЮИ, абсолютная верность строю, не предполагавшая серьезных сомнений в его правоте, работа в качестве следователя прокуратуры. Однако в какой-то точке в конце 1950-х эти очень похожие личные истории расходятся: Золотухин оказался в адвокатуре. Причем не просто так, а после того как отказался от поддержки обвинения в одном из процессов — случай абсолютно уникальный. Нескольких лет хватило, чтобы попытка взглянуть на советское уголовное право с другой стороны привела к полному изменению его представлений о жизни. И всё изменилось еще более радикально, когда с середины 1960-х, после дела Синявского и Даниэля, начались политические процессы. Борис Золотухин дружил со знаменитой Диной Каминской, защитницей диссидентов, настолько великолепным адвокатом, что от защиты Юлия Даниэля в 1966-м ее отстранили.

Профессиональная добросовестность адвоката и приводила самых честных представителей этой профессии сначала к стилистическим, а затем к политическим разногласиям с советской властью. Диссиденты требовали от начальства уважать свою собственную Конституцию, а защитники добивались буквального соблюдения уголовного и гражданского законодательств. О тщетности усилий Юлий Ким сочинил «Адвокатский вальс», разъяснив и публике, и самим защитникам, в чем состоит их мотивация: «Конечно, усилия тщетны / И им не вдолбить ничего: / Предметы для них беспредметны, / А белое просто черно. / Судье заодно с прокурором / Плевать на детальный разбор — / Им лишь бы прикрыть разговором / Готовый уже приговор. ‹…› Ой, правое русское слово — / Луч света в кромешной ночи! / И всё будет вечно хреново, / И всё же ты вечно звучи!»

На самом деле это был звездный час советской адвокатуры, сравнимый с эпохой великих судебных ораторов конца XIX — начала XX века. В дореволюционное время расцвет адвокатской

профессии был напрямую связан с судебной реформой. В 1960-е первоклассных защитников востребовало нарождавшееся общественное движение.

Личные взгляды адвокатов, как правило, совпадали с убеждениями подзащитных. Например, защищая Ларису Богораз, вышедшую на Красную площадь 25 августа 1968 года, чтобы протестовать против ввода войск в Чехословакию, Дина Каминская полностью солидаризировалась с нею в оценке действий советского руководства. Как и Богораз, она считала, что просто неучастия в произволе, как это было до середины 1960-х, уже недостаточно — надо подавать голос. Но в суде она осуществляла защиту исключительно по правовым основаниям, исходя из того, что человек имеет право высказывать свое мнение, и это не является нарушением общественного порядка и уголовно-правовых норм. По тем же основаниям Каминская защищала своего первого политического клиента — Владимира Буковского, участника мирной манифестации на Пушкинской площади в январе 1967 года. Она, как и Софья Каллистратова, как и Борис Золотухин, жила так, как если бы адекватное правоприменение было возможно: «В несвободной стране мы старались жить, как в свободной». Что в результате и привело к преследованиям и вынужденной эмиграции.

В 1968-м, после того как Борис Золотухин потребовал оправдательного приговора Александру Гинзбургу, составителю «Белой книги» о процессе Синявского и Даниэля, Бориса Андреевича исключили из адвокатуры и из партии. После судебного заседания публика, восхищенная мужеством и профессионализмом (что в то время было одним и тем же) Золотухина и Каминской, встречала адвокатов цветами, а они говорили между собой о том, как им стыдно. Стыдно соучаствовать в таком «правосудии». Больше испытывать стыд Золотухину не пришлось — в свои 38 лет он перестал быть адвокатом и вернулся в адвокатуру в 58, в 1988 году. Хотя по сути дела не переставал быть защитником — консультировал на дому, в том числе и по диссидентским делам. Я был страшно горд, когда, однажды оказавшись у Бориса Андреевича дома, прошел входное испытание: на вопрос, чьи картины висят на стенах, дал правильный ответ — Краснопевцева. Мне ли, прошедшему школу Левенсона, одного из самых известных коллекционеров живописи в застойной Москве, с особым акцентом на Роберте Фальке, было не знать, кто и почему висит на той или иной стене в частной квартире?

Перестройка привела Бориса Андреевича в Верховный Совет РСФСР, где он стал одним из авторов судебной реформы, по

значимости и масштабу действительно сопоставимой с преобразованиями 1860-х годов. И вины отцов-основателей в том, что дела в российских судах потом пошли наперекосяк, нет. Смешны попытки что-то структурно поменять в сегодняшних судебных присутствиях — дело же не в процессуальных и технических деталях, а в атмосфере, которая сложилась в стране, и в том, что творится в душах и головах судей. Это ментальная, а не структурная катастрофа. Золотухин и его коллеги оставили достойное наследие, а уж растранжирить его для тех людей, которые находятся у власти почти два десятилетия, проблемы не составило.

В моей «пятерке» скоро по разным причинам осталось трое — я, бывший моряк Володя Петров, которого тотчас же окрестили Наута (латынь была обязательным предметом на первом курсе) и командир-артиллерист с полным иконостасом орденов Даня Инденбаум (ныне гражданин Израиля). Наута учился с трудом, объясняя, что науки он не может воспринимать сидя или стоя, только лежа, что и воплощал на практике. За столом по очереди читали вслух учебник Даня Инденбаум и я, а Петров задумчиво лежал на диване, изредка нам кивая. Результаты сессии показали эффективность этой «методы».

Петров всё сдавал с первого захода, но требовал нашего присутствия на экзамене. Он не стеснялся, отвернувшись от профессора, уточнять непонятные вопросы, термины, а потом спокойно передавал полученную информацию преподавателю, который смотрел на него буквально с восхищением. В последующие годы Петров стал одним из лучших народных судей райсудов Москвы.

У нас был блестящий преподавательский состав, мы еще застали старую профессуру: например, латынь вел профессор Новицкий, госправо — профессор Гурвич. Профессор Остроумов превратил в мой любимый предмет скучнейший курс бухучета и судебной статистики.

Под аплодисменты кончались лекции по истории политических учений молодого профессора Владимира Покровского, что, правда, обернулось трагикомедией на сессии. Дело в том, что у Покровского была интересная особенность: он свято держал нужный деканату процент плохих и хороших оценок. Поначалу, благожелательно наставив пятерок и четверок, он в середине экзамена вдруг спохватывался и со стоном «что скажет декан!» начинал беспорядочно ставить двойки и тройки, приговаривая: «Не волнуйтесь, приходите завтра, я исправлю на четыре».

По тетради в жестком переплете, содержавшей папины

конспекты лекций Покровского, учился и я. Сохранились и три тонких покетбука 1951–1952 годов Госюриздата «История русской политической мысли», подготовленные Владимиром Покровским на основе лекционных курсов. А во «Введении» в первом из трех выпусков есть феерические пассажи с практически напевной интонацией: «Изучая прошлое своей великой многонациональной родины, советский человек любовно отмечает ту роль, которую сыграл русский народ в развитии революционного движения в России и во всём мире». Прямо какой-то тост за русский народ, и, скорее всего, писал его даже не сам Покровский. И правильно — преподается-то история именно русской политической мысли: «Россия Ленина и Сталина, центр нашей социалистической Родины, дает образцы строительства коммунизма, на которых учатся другие народы». Не подкопаешься, особенно в обстоятельствах конца 1940-х — начала 1950-х, с его беспощадной борьбой с безродными космополитами.

Спустя каких-то три с половиной десятилетия история политических и правовых учений стала моей выпускной специальностью на юридическом факультете МГУ. А профессор Олег Эрнестович Лейст, неприязненный суховато-раздражительный преподаватель, в отличие от Покровского предпочитавший ставить всем тройки и двойки, однажды найдет в моей тетради, где я конспектировал его лекции, переписанное откуда-то и вовремя не вырванное и не спрятанное стихотворение «Нобелевская премия» («Я пропал, как зверь в загоне…»). «Чего у него тут только нет: и рожи какие-то нарисованы, и… Пастернак». У меня сначала всё похолодело, но через секунду я понял, что вижу в самом жестком преподавателе факультета своего сообщника. За Бориса Леонидовича я получил от сухаря Олега Эрнестовича четверку. И это была наша с ним тайна.

Кстати, Лейст на три года раньше отца закончил Мосюринститут. Значит, тоже учился у Покровского.

А учебником частного римского права 1948 года издания под редакцией Ивана Перетерского и Ивана Новицкого, профессоров с еще дореволюционным образованием и опытом работы, я щеголял на факультете — однокурсники разглядывали его не столько с трепетом, сколько с изумлением. По новым учебникам мне учиться было скучно, кроме того, они казались недостаточно подробными, а предмет мне нравился, он соединял историю, латынь и, обращаясь в прошлое, странным образом предвосхищал будущее, по крайней мере, казался чрезвычайно рациональным и адаптированным отнюдь не к социалистической среде. К тому же учебник Перетерского-Новицкого был живой, оплывавшие желтизной страницы рождали ощущение подлинности —

разговора с умным стариком. На семинарах по гражданскому праву, вроде как наследовавшему — через несколько итераций — римскому праву, я честно умирал от скуки, а вот понятия и кейсы почти двухтысячелетней давности, напротив, завораживали. Причем к истории Древнего Рима я был равнодушен, а римским правом — увлечен. И самая странная и обидная четверка на первом курсе — как раз по римскому частному праву.

В интеллектуальной биографии каждого человека есть книги-ключи. Иной раз одним большим ключом становится библиотека, у каждой книги которой есть своя собственная история, вплетающаяся в биографию человека, выросшего на ней. Ничего подобного электронная книга дать не может. Она мертвая. И, возможно, формируя человека ментально, не может сформировать его эмоционально. Электронную книгу, которая ничем не пахнет и не дает тактильных ощущений, нельзя передать по наследству внутри одной физически осязаемой библиотеки. Эмоциональная связь поколений — с карандашными пометами на полях отца, брата, а то и неведомого двоюродного дедушки и забытыми между страницами квитанциями в прачечную какого-нибудь 1974 года — прерывается.

Многочисленные полки французской литературы — учебной и художественной — это память о покойной маме, чьей специальностью был французский язык. Сладковатый запах иностранных книг, их необычный вид — глянцевые обложки и крашеные обрезы — сопутствовали детству и остались его важной приметой. И приметой времени, и тогдашнего семейного уклада. Достаточно открыть дверцы книжного шкафа, чтобы совершить путешествие во времени и заодно обрести слабый, но контакт с мамой. Я не выбрасываю даже ее рабочие тетради с темами и заданиями для учеников, которые паслись у нас дома добрую четверть века и совершенствовали свои познания в языке. Запах же французских покетбуков не исчезает десятилетиями. Радость узнавания странным образом обнаружилась, когда я оказался в тбилисской квартире Мераба Мамардашвили, где всё, как при нем, жившем здесь с 1980-го по 1990 год, сохранила его сестра, Иза Константиновна: французские книги и словари, в том числе покеты, в том числе те, которые стоят и у меня на полке…

Болотно-зеленый двухтомник истории русской литературы Овсянико-Куликовского, издание начала XX века: несколько поколений семьи черпали из этого прогрессивного издания мысли для школьных сочинений. И это тоже разговор с тенями незабытых предков. Интересно проверять набор идей авторов двухтомника на современных учителях русского и литературы. Эксперимент продолжается — мой младший сын прошел полосу

написания сочинений по русской классической литературе.

Довольно скоро выявились на курсе таланты: бурно расцвела самодеятельность, почти в каждой группе издавалась собственная стенгазета, а в нашей — даже свой журнал, который назвали «Дела и мысли». Насчет дел — не особенно большой раздел, а мыслей — сколько угодно, даже в стихах. Записными «поэтами» были Андреев и я, причем разных направлений. Я, конечно, наследник Маяковского, а мой коллега писал лирические стихи, что давало мне основания лягнуть его в рубрике «Бой поэтов», где Андреев довольно едко писал: «Там дых, тут тяг, / Имя мое Колесни-ков Влад». На что я немедленно отвечал: «Что-то чувствуется запах Блока / В лирике небесно-голубой».

На курсе был и свой композитор Коршенбойм, он же руководитель курсового хора, единственного в институте, да и среди соседних вузов. Особенно бойко выступал хор на ступенях у памятника Чайковскому (мы же были соседями Консерватории) во время праздников и демонстраций. Узенькая улица Герцена резонировала и усиливала рев молодых глоток. Одновременно я вступил в хор любителей пения при музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Меня привлекло объявление, что хор именно «любителей», ведь я был большим любителем хорового искусства, посещал все хоровые концерты, особенно ценил хор А.В. Свешникова, мужской хор Эстонии и, конечно, ансамбль Советской армии под управлением Александрова. И вот я оказался в числе других пятидесяти человек принятым в хор знаменитой Гнесинки!

Идея была чисто педагогическая: имелось в виду, что студенты хорового факультета будут на нас практиковаться под руководством главного хормейстера ансамбля Советской армии Константина Петровича Виноградова, говорившего, что ему надоело работать с чисто мужским хором, а хотелось заняться со свежими голосами любителей, со смешанным хором, исполнить произведения, недоступные для армейского ансамбля. И на первом же занятии мы сразу стали работать над сложнейшим произведением Танеева «Сосна» на слова Лермонтова. Я пел в группе басов — основе хора. Мой сосед по хору по фамилии был Басс, и я всегда подстраивался под него.

После распевного вступления теноров и женщин мелодия мягко опускалась на свой фундамент — басовую партию, и мощный аккорд потрясал зал. А в финале мы, басы, из последних сил переходили на профундо (нижнее «фа»): «…одета как ризой о-о-о-на…», и все были счастливы, особенно Константин Петрович, приговаривая к случаю, что самую большую зарплату в ансамбле получает бас-профундо. Мы его хорошо знали и любили по

исполнению замечательной украинской песни «Взяв бы я бандуру…» Выступления нашего хора были записаны на радио, часть наших песенных удач была перенесена К.П. Виноградовым в репертуар Краснознаменного ансамбля, например, «Попутная песня» Глинки, украинская песня «Щедрик, щедрик» и другие. Мы с восхищением слушали армейцев, но считали, что у нас получалось лучше.

Отец постоянно пел. Если не пел, то напевал. Как будто в его голове (или в душе) всё время работало музыкальное радио и передавало через него концерты. Вкусы его были классическими. Ну или, если угодно, советскими. Хотя советскую эстраду брежневской эпохи, за редкими, но характерными исключениями вроде тех же Марка Фрадкина или Павла Аедоницкого, если говорить о композиторах, или Валентины Толкуновой, если речь шла об исполнителях, он абсолютно не принимал. Сам себе удивился, когда вдруг ему понравились «Песняры» на концерте в Минске — притом что их кантри-стилистика выбивалась из его представлений о прекрасном. Любил театр, и неизменно в командировках, будь то в Таллине, Иркутске или Ереване, ходил смотреть местные постановки. Нереализованная мечта о профессии актера или певца была загнана глубоко в подсознание, но никогда не отпускала.

Вообще в институте жили дружно, весело. Нас хватало на всё. Даже такое скучное дело, как агитработа среди населения в период подготовки и проведения различных выборов, комсомольцы проводили с настроением. Каждую неделю собирался агитколлектив и с восторгом смотрел и слушал отчет агитаторов, который доцент Мирский превращал в эстрадное представление под хохот и аплодисменты зрителей.

Особенно интересно было в день выборов. В то время они начинались в 6 часов утра. А это означало, что наш агитколлектив должен был собраться в 4 часа на инструктаж; некоторые, чтобы не рисковать, ночевали в помещении избирательного участка. Затем начиналось очередное представление. В 5 утра наш руководитель Мирский командирским голосом приказывал: «Ну что ж, пора поднимать народ!» И мы шли по знакомым адресам (ведь за очередную кампанию мы превращались буквально в членов семей избирателей) и начинали барабанить в двери, несмотря на протестующие возгласы и брань жильцов. Правда, наша группа всё же относилась к своим подопечным более человечно. Выйдя под утренние звезды, мы делали несколько кругов вокруг домов, а потом с тяжелым вздохом принимались будить избирателей и ласковым, увещевающим тоном гасили их справедливое

негодование.

К 6 утра почти все избиратели уже были на участке. Пришедших первыми фотографировали, газетчики брали интервью. Вовсю работал буфет, играл баянист, пели частушки. К 9-10 часам посылались сведения о количестве проголосовавших в окружную избирательную комиссию с таким прицелом, чтобы к 12 отрапортовать, что голосование полностью закончено. Так почти всегда и происходило.

Агитаторам объявлялась благодарность, и мы могли идти голосовать на свои участки. Перед уходом каждый из нас проверял по спискам, все ли подопечные проголосовали, не надо ли бежать по квартирам «добирать остатки». В большинстве случаев этот район, как мы считали, благодаря нашим усилиям занимал первое место по «охвату» и по времени.

Эта абсолютная бессмыслица советских выборов, притом не сфальсифицированных, потому что и фальсифицировать-то было нечего, никого не смущала. В своем перфекционизме советская власть, как и любая авторитарная система, достигала высшей степени абсурда: ну вот зачем, например, было устраивать людям «праздник» в шесть утра? О чем могли брать «интервью» газетчики? Хорошо, буфет — это полезное дело, можно было зарядиться чем-нибудь дефицитным вроде бутерброда, достойного театрального фойе. Да, атмосфера праздника и общего дела, в котором, впрочем, было не больше смысла, чем в выкапывании и закапывании одной и той же ямы. Но к чему так торопиться? А еще — за что агитировали, какими словами объясняли необходимость выбора без выбора — такого же, в сущности, как и в магазинах?

Это всё тяга к стахановским рекордам через «не могу», через преодоление себя — вот что такое голосование в 6 утра с подведением итогов к 12, со стопроцентной явкой и стопроцентным результатом. Только на этих силах поверхностного натяжения социальной ткани и могла выживать и поддерживать себя Советская власть, не давая слабину ни в чем и держа в напряжении всех. Тем более что речь-то идет о позднесталинской эре, едва ли не более страшной, чем времена начала Большого террора. Удивительным образом принудительное голосование на президентских выборах 2018 года тоже предполагало отчетность отдавших свой голос не позже 12 дня. Вряд ли нынешние «агитаторы» что-нибудь слышали о такой традиции 1940-1950-х, но какова сила подспудного «эффекта колеи» в нашей стране — те же действия, те же завлекалки на избирательных участках, даже тот же контрольный час!

Но рядом с этим — веселье и ухарство командной молодой работы! Удовольствие от процесса и кайф от успеха. Соревнование — кто быстрее и больше. Спорт и юмор. Приятная усталость и ощущение честно и удачно проделанной работы.

Тоже скрепа, между прочим.

Всё не так весело было уже во второй половине 1960-х, когда в медленном ритме упаднического черно-белого кино ожидала своей естественной смерти оттепель, точнее, то, что от нее осталось в промежутке между приходом Брежнева к власти и заморозками 1968-го. В «Июльском дожде» Марлена Хуциева агитационная кампания за выборы сопровождает умирающую любовь героев Ураловой и Белявского, актеров совершенно антониониевского уровня и духа. Герой преследует ускользающую красоту героини, прорываясь в квартиру, где она ведет агитацию за выборы в семье глубоких стариков. «Наши в райкоме уже собрались», — эта кодовая фраза-обман позволяет вытащить из квартиры молодую женщину — к ее неудовольствию. Это мизансцена, где агитация использована режиссером как великолепная декорация умирающей любви — а ведь это нужно было еще протащить через цензуру. Антониони, пожалуй, отдыхает…

Еще один участок массово-политической работы нашего института постоянно ходил в передовых — это лекционная пропаганда. Наша лекторская группа отличалась железной дисциплиной. Казалось, не было ни одного предприятия в районе, на котором я бы не выступал, причем не один раз, нередко и по персональным заявкам, что было особенно почетно.

Мы всегда гордились нашим пролетарским Краснопресненским районом, его традициями. Для меня было естественным желание вступить в партию. Изучал ее историю, устав, другие документы. Зная свою зрительную память, специально несколько раз ходил в Музей Ленина, экспозиция которого точно отражала содержание глав «Краткого курса истории ВКП(б)». Так лучше запоминался пройденный материал. Но оказалось, что не в том была загвоздка. Для вступления в партию, кроме рекомендаций двух коммунистов со стажем, требовалась еще и рекомендация комитета комсомола, а вот ее-то было получить труднее всего. Комитет очень строго относился к студентам, бывшим школьникам, и всем нам твердо отказал, правда, посоветовав прийти годика через два, когда мы практически покажем свою готовность стать кандидатами в партию. Это был ошеломляющий удар, но мы понимали, что еще не достойны такой великой чести, и только удвоили свои общественные, и учебные усилия.

На первый взгляд, поразительна эта степень дистиллированного, активного конформизма, особенно если учесть, что дело происходит в страшный позднесталинский период. И тем более если учесть, что старшекурсник давно и верно влюблен в еврейку, дочь умершего в лагере в Устьвымлаге «неразоружившегося меньшевика», и вообще собирается на ней жениться, несмотря на бушующие вокруг государственный антисемитизм и борьбу с безродными космополитами. Но одно прекрасным образом сосуществует с другим. Взять тот же Краснопресненский район: как раз в это время забрали в ГУЛАГ бывшего главу райисполкома, Михаила Немировского, который в первые месяцы войны готовился к тому, что возглавит на этой территории подпольное сопротивление врагу — все ждали, что Гитлер возьмет столицу.

Просто папа хотел быть хорошим гражданином своей страны, хотел исполнять неписаный кодекс поведения правильного человека. А венец морально одобряемого поведения — вступление в партию… Но даже он, такой активный и верноподданный строитель нового общества, пока оказался недостоин высокого звания коммуниста.

Будучи верным ленинцем, отец парадоксальным образом в большей степени был сосредоточен на своих личных проблемах: вступление в партию — это же личная озабоченность. А вокруг крушила человеческие судьбы вторая волна сталинских репрессий, режим, вслед за вождем, послушно и даже с рвением погружался в паранойю. В том же самом юридическом институте, важном «идеологическом» вузе, происходило много интересного.

Отец не вспоминает знаменитую лекцию Андрея Вышинского, которую тот прочел в мае 1948 года в Московском юридическом, в хамских выражениях раздолбав учебник «Теории государства и права» профессора Денисова и «замочив» ключевых профессоров. И ведь что характерно — Вышинскому, его обличительному артистизму, студенты неистово аплодировали.

Упомянув профессора Георгия Семеновича Гурвича, папа не описывает, как того в те же годы выперли из института за «космополитизм». А это был экзотический старичок — чудак в валенках, при этом один из основных авторов сталинской Конституции 1936 года. Из МЮИ вышли многие первоклассные литераторы, например, Виктор Перельман, будущий завотделом информации «Литературки», а затем основатель и редактор эмигрантского журнала «Время и мы», представителем которого я был на рубеже 1980-1990-х — за 25 долларов в квартал и банку кофе «Фолджерс» из Америки. Этот институт окончил Александр Борин, автор термина «проскочившее поколение». Перельман и

Борин подробно описывали Гурвича, его нестандартное поведение и крылатые фразы. Например: «Ну-с, догогая, не знаю, как вообще, а в госудагственном устгойстве бугжуазной Индии вы девственница». Или: «Ставлю вам пять. Два сейчас, а тги — когда пгидете». Однажды он выгнал с экзамена собственную дочь, бросив ей вслед зачетку: «Вон! Вся в мать, дуга!»

Перельман тоже был другом Левенсона. Дмитрий Соломонович называл Виктора Борисовича «фашистом» — за дурной нрав и бескомпромиссность.

Глава 4. Обретение профессии

Студенческие годы пролетели быстро, и вот началась трудовая жизнь. В последний год учебы у нас была практика, сначала в райпрокуратуре, а потом в Таганском райнарсуде. Нас сразу включили в работу как дополнительную «рабсилу». От имени следователя я вел допросы, писал все бумаги и даже выступал в суде. Сидя в зале, я писал протокол судебного заседания, а потом сопоставлял с официальным протоколом. В нарушение закона о тайне совещательной комнаты судья Звягин брал меня с собой на совещания и предлагал составлять проекты судебных решений и приговоров, потом обсуждал их с народными заседателями и, если они соглашались, давал переписывать проект в настоящий документ. «А как иначе я могу тебя научить составлять судебные документы?» — спрашивал он и был прав.

В конце практики 20 студентов были отозваны в Верховный суд СССР, лучшие практиканты привлекались к работе в высшем органе правосудия в качестве консультантов, таким образом, уже на 4 курсе мы стали «опытными» профессионалами, а не «несчастными теоретиками», как мы называли коллег-выпускников из МГУ.

Распределение для нашего курса не представляло большого труда: часть студентов уже постоянно работала в милиции, прокуратуре, плюс отличная учебная практика — в результате почти на каждого были заявки на работу. Мне предложили на выбор — в Прокуратуру СССР или Верховный суд СССР, причем за мной на комиссию пришел помощник председателя суда по кадрам и отстоял мою кандидатуру в споре с прокурором. Так что с 1 июля 1951 года я ушел в первый трудовой отпуск за счет Верховного суда СССР и с 1 августа приступил к работе сначала референтом, а через год — консультантом Судебной коллегии по уголовным делам.

Почему я сам ушел из юриспруденции, пойдя по стопам отца, окончив юрфак МГУ и даже начав работать ровно в то же самое время, как раз 1 августа, только 36 лет спустя, и не в Верхсуде СССР, а в высшей судебной инстанции РСФСР? И тоже сначала почему-то был отпуск, а потом уже работа. Только должность называлась — сразу — консультант, а потом, спустя несколько месяцев, а может год, — старший консультант. Отец передавал мне эту профессию, как передают семейное дело или наследственное ремесло. Спустя два с половиной года я покинул не только суд, но и специальность, хотя и оставался аспирантом Института государства и права АН СССР, впрочем, писавшим

диссертацию на тему, имевшую очень условное отношение к праву, — исследовал вполне марксистскую проблему отчуждения. И если кто-нибудь, кроме моего умного и проницательного научного руководителя профессора Гулиева, понял бы смысл написанного, то работу можно было признать диссидентской: я утверждал, что советское право способствует отчуждению человека от власти. И это — при социализме…

Ответ очень простой: ушел несмотря на быстрое наращивание опыта и квалификации, я не хотел быть судьей, как того требовали каноны профессионального восхождения — сначала вступаешь в партию, потом в 25 лет избираешься районным судьей, затем начинаешь долгое карьерное движение, чтобы в конце пути оказаться в том же здании на Ильинке, тогда улице Куйбышева, но уже в качестве не консультанта, а члена суда. И если повезет, переместишься в суд Союза на Поварскую. Или превратишься в члена президиума Верхсуда РСФСР. Попутно, кстати, читаешь трудящимся, измученным нарзаном, на предприятиях и в магазинах лекции о каких-нибудь правовых средствах борьбы с алкоголизмом и пьянством. Тоскливая траектория. Но важнее было другое: мне казалось, что решения, даже выносившиеся обдуманно, слишком легко определяли судьбы людей. А это огромная нагрузка на совесть. Ну, во всяком случае, для меня.

И в мои годы — самый конец 1980-х, и в отцовские времена система работала примерно одинаково. Несмотря на уточнение и либерализацию законодательства в хрущевские времена, процессуально и содержательно всё было примерно то же самое. Разве что 58-я статья больше не действовала.

Когда в Госархиве РФ я раскрыл рассекреченное только в 1999-м дело маминого отца, которого забрали в 1938-м, то увидел, что правила формально соблюдались. И хотя всё было слеплено необычайно грубо и неряшливо, в принципе, попытки коряво придерживаться процессуальных норм присутствовали. Просто сами нормы были идиотскими — буква закона не соответствовала духу права, «искусства добра и справедливости». Законы восставали и восстают против права и прав человека. Это противоречие — неправовые законы — никуда и никогда не уходило из советско-российской правовой среды. И оно вырастило уже к нулевым годам поколение удивительно равнодушных, без нравственного чутья и чувства духа права следователей, судей, прокуроров. И даже таких же адвокатов-«решал».

Профессия в политических условиях СССР всегда была с гнильцой, неизменно в ней читалась имитация. Такой же она

осталась, соблюдя все условия «эффекта колеи», но поднабравшись цинизма, и в постсоветское время.

Сказанное не означает, что в этом ремесле не было честных профессионалов, а сама машина юстиции работала исключительно на репрессии. Неблагоприятная социальная среда исправно поставляла настоящих уголовников; требовались очень высокая квалификация и опыт, чтобы разбирать в том числе уголовно-правовые казусы, не имевшие к политике никакого отношения.

Как и отец, я читал лекции по линии общества «Знание» — подрабатывал. В зимние каникулы на четвертом курсе отправился на гастроли, или «чёс», в Казахстан. В отдаленной станице (именно станице!) в райкоме (или райисполкоме) распределяли лекторам путевки на объекты. Унылая дама в очках уже было выписала направление на чтение лекции в женскую зону, но потом, внимательно вглядевшись в юное еврейское, совсем мальчишеское лицо, вынесла приговор: «Нет, туда его отправлять нельзя». Жаль, был бы потрясающий опыт.

Работали тогда по старому графику: с 10:30 утра до 10:30–12 ночи. Это была схема, подогнанная под привычки Сталина, поэтому вся пирамида чиновников жила в ненормальном ритме, правда, с некоторыми различиями.

Например, я к 8 часам вечера был уже выжатый как лимон и голодный как собака, а наш председатель, приказывавший мне явиться с делами на доклад в 23:30, строил свой график по-другому: с 11 часов до 2-х бодренько трудился, потом уезжал «обедать» и появлялся в 21 час свежий, как огурчик, чтобы снова заняться делами. С тех времен осталось зрительное воспоминание: румяный, бодрый и веселый Волин — председатель суда — задает ехидные вопросы длинному взлохмаченному скелету с кругами под глазами — молодому консультанту Колесникову. Или еще: в предбаннике у председателя сидел шикарный майор в полной форме с аксельбантами и важно отвечал на телефонные звонки с трех с половиной тысячной зарплатой, а рядом работала точно так же техническая секретарша за 600 рублей.

Флигель-адъютант с аксельбантами в роскошной шинели выходил из высоких дверей на ступеньки, где, поскуливая от мороза, толпились мы в семисезонных пальтишках. Подкатывала к подъезду сверкающая машина, майор запахивал шинель и со вздохом говорил: «А, братцы, ведь холодно в окопах!» и отбывал.

Этот эпизод говорит об относительности советского равенства в нищете. О тяге советской власти к роскошной атрибутике, к четко ранжированным льготам и аптекарски точно

отмеренным привилегиям. О том, что высшие руководители могли для себя найти способ физически не переутомляться, адаптироваться к заданным политическим и физиологическим обстоятельствам.

Тем не менее показательно, что ни в одном из эпизодов и речи нет о блате. Вертикальную мобильность обеспечивают сами органы судебной власти, заинтересованные в молодых квалифицированных кадрах. Притом что дед, папин отец, в это время, после демобилизации в 1946-м из армии, работал членом Московского областного суда, карьера его сына выстраивалась абсолютно автономно.

Что же до румяного председателя суда Анатолия Антоновича Волина, прожившего 104 года и скончавшегося в 2007 году, спустя семь лет после смерти «консультанта Колесникова», то на самом деле он был, наверное, одним из лучших председателей высшей судебной инстанции, ухитрявшийся и выживать, и придавать деятельности суда осмысленность. Особенно после кончины Сталина. Будучи назначенным в 1948 году на эту должность самим тираном, Волин пытался быть судьей, а не палачом, неприязненно относился еще с 1930-х к Вышинскому, пытался повысить роль адвокатуры, а свою отставку связывал с непростыми отношениями с Микояном. Что само по себе не делает его героем. Но и не превращает в абсолютного злодея.

Рассказывали, что в МИДе, чтобы как-то более продуктивно использовать ночные бдения, практиковали просмотры иностранных кинофильмов в конференц-зале. Польза была огромная: тренировались вроде бы в языке и занят был всего один дежурный у телефона, который время от времени вбегал в темный зал и кричал: «Иванов, на выход!»

У нас таких возможностей не было, и мы, с трудом разлепляя уставшие веки, ждали своего часа, чтобы доложить очередную порцию дел руководству.

Нагрузки были запредельные. За день полагалось рассмотреть не менее (!) 60 жалоб осужденных и их родственников, при этом на каждую жалобу надо было написать мотивированный ответ, отпечатать его в машбюро и подписать, если требовалось, у начальства. Поэтому, когда утром курьер приносил пухлые папки с письмами, их складывали под стопку таких же папок под самый низ, потому что читали еще верхние, например, августовские, тогда как остальные лежали сентябрьские, октябрьские, ноябрьские, декабрьские прошлого года и «свежие» январские, февральские, мартовские за этот год, и так всё время с опозданием на 3–6 месяцев, а люди ждали ответа и надеялись. Мы понимали это, но ничего сделать сверх

своих сил не могли. Однако хитросплетения человеческих судеб, набор разнообразных документов заставляли держать себя в хорошей юридической форме, постоянно обращаться к разным правовым актам, решать и теоретические вопросы.

Сохранилась фотография. Первомайская демонстрация. На заднем плане — строящееся здание, кажется, МИДа. (И мне сразу вспоминается дивная детская книжка Виктора Розанова «Приключения Травки» о путешествии по Москве и окрестностям растяпистого папы и его пятилетнего сына, в которой отец показывает мальчику строящийся «дом-великан» — боже, куда, в какую дыру времени проваливается эта советская Атлантида?!) Цветы, шары, мужчины в пиджаках и шляпах и без них, дамы в демисезонных пальто с высокими плечами. На переднем плане — улыбающийся высокий папа, ему слегка за двадцать, широкий ворот рубашки — поверх лацканов пиджака, комсомольский значок. Длиннющими руками он держит транспарант, здоровенный, напоминающий что-то траурное, с гербом и надписью «Верховный суд Союза ССР». Из-за транспаранта как-то конспиративно, недоверчиво-настороженно выглядывает Ленин с прямо-таки «копчеными», как у девушек в макияже, глазами.

Это фото я описал в своей книге «Семидесятые и ранее. Попытка словаря». И вот один из персонажей фотографии однажды мне позвонил, очень специфическим окольным путем добыв мой номер телефона. «Володя, — кричал в трубку звонивший из США эмигрант то ли последней советской, то ли первой постсоветской волны — он был убежден, что разговаривает с моим отцом, — Помнишь ли меня, это мы с тобой несли транспарант?!» Звонивший оказался дядей моего университетского друга — любая мистика, включая загадочные звонки из прошлого, имеет простые объяснения.

Как же долго живут люди. И как мало живут люди. Отец еще мог бы ходить по дорожкам парка…

Я работал в Верховном суде РСФСР и был копией своего отца. Наверное, даже повторял его движения, когда брал из гигантской папки очередную жалобу. Как мы шутили в нашей комнате на восемь или девять консультантов, — жалобу осу́жденных, недовольных своими а*бл*окатами (вероятно, от глагола «облокачиваться»), на при́говор. Я еще больше ослаблял галстук на шее и окунался в очередную дикую историю с изнасилованиями в задний проход бутылкой «Агдама» и тяжкими телесными повреждениями на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений в далекой Туве, чьи судьи едва ворочали этими казенными русскими словами про какие-то там преступления и фабулы дела.

Кстати, о галстуке и о костюмах, обязательных элементах дресс-кода советского судебного клерка и чиновника. У папы всегда были строгие неброские костюмы, которые он носил на работу в ЦК. Летом — светло-серого цвета. В это же время года были допустимы и ботинки под цвет пиджака. Но был и специальный пиджак на три сезона — твидовый, да еще с дополнительной клеткой. Не знаю, откуда он взялся. Возможно, был привезен из редкой зарубежной поездки — из ГДР или ЧССР. Под него папа надевал более изысканный, чем обычно, коричневого оттенка галстук. Это был пиджак не для работы — в нем он ходил в гости и на встречи друзей. Поэтому пиджак можно было бы назвать *casual*, если бы под него всё равно неизменно не надевался галстук. В те времена даже на встречи близких друзей ходили в галстуках.

Я выделял для себя этот пиджак на фоне других, незапоминающихся. И потом полюбил твидовые пиджаки, какие носят западные профессоры, от вельветовых же брюк в толстый рубчик просто цепенел. Оттуда же, от отца, нержавеющая любовь к никогда не выходящим из моды рубашкам поло. Из поездки в Италию (встречи с итальянскими коммунистами) родители привезли темно-синюю рубашку-поло мне и светло-голубую — папе. Я заносил свою до дыр — она казалась вернейшим и неувядающим символом западного мира.

А вот когда я в конце 1980-х начал ходить на работу в Верховный суд РСФСР, то позаимствовал из папиной коллекции галстуков строгий синий в тонкую полоску — хорошей европейской выделки, подаренный одним из высших должностных лиц в стране. Должностное лицо носило такой же галстук — я видел в телевизоре. С тех пор имею пристрастие как раз к таким консервативным галстукам, которые можно увидеть на американских и европейских политиках, не столь яростно, как наши деятели, следящих за последними «взвизгами» моды…

…Я готовил ворох ответов, как правило, отрицательных, и нес их на подпись членам суда, сидевшим по четыре человека в комнате, заваленной многотомными делами. Мне нравились эти сорокалетние мужики, слишком много знавшие о жизни и, как казалось, с некоторым презрением к ней относившиеся. Аккуратист — мой куратор — учил меня безукоризненным формулам и вниманию к нюансам. Он был по национальности башкир и походил на Будду — из-под его рук выходили тончайшие изделия, юридические формулы, похожие на резьбу по слоновой кости. Его сменщик, основательный, квадратный, вызывавший этой своей основательностью симпатию, вчитываясь в «обстоятельства дела», шевелил так называемой щеточкой усов

и, серьезно-насмешливо глядя на меня, говорил, что мне пора вступать в партию. Они очень хорошо и покровительственно относились ко мне — готовили преемника. Потом я шел подписывать важнейшие документы к медлительному высокому старику — председателю того, что называлось «судебным составом». Наш состав покрывал целый гигантский регион, квадратные километры мерзлой земли, ле́са, строек, шпал, тоннелей, зон, унылых индустриальных городов, провонявших дымом заводов; от наших настроений, предыдущего опыта жизни, привычек, предрассудков, воображения, разума, профессионализма зависели судьбы десятков тысяч людей.

Иногда, когда в кипе жалоб просвечивало беззаконие, я «истребовал дело». На стол ложились тома уголовного дела, бессвязный палимпсест отчаянных человеческих судеб, обстоятельства каждой нелепой жизни нужно было отлить в формы уголовного закона, с учетом всех нюансов постановлений пленумов Верховного суда и талмудических толкований статей. На заседаниях синедриона — президиума суда, где разбирались тонкие вопросы квалификации преступлений, — я сидел где-нибудь в углу на приставном стульчике с блокнотом в руках — подмастерье на собрании мастеров.

На второй год работы я чувствовал себя мастеровитым ремесленником в грязном окошечке металлоремонта, который уже издалека может определить, как починить изделие и подлежит ли оно вообще починке. Величайшие гуру профессии передавали мне свое знание, я был сдан в науку к исполинам. И уже не таскал с собой домой на выходные десятками жалобы становящихся родными осу́жденных — щелкал, как орехи, их судьбы, капиллярно знал и безошибочно угадывал тайные помыслы, мотивы и уловки, легко отделял косвенный умысел от прямого, читая их мысли на расстоянии в момент рокового удара тяжелым предметом по голове собутыльника или внезапно вспыхнувшего неодолимого вожделения к 13-летней соседке.

Квалификация преступления — вот какой товар я выдавал из своего окошечка за 120 рублей в месяц. Выдавал из затхлой комнаты окнами на атлантов, без устали десятилетиями поддерживавших окна в соседнем — через улицу Куйбышева — здании. Из комнаты, населенной тридцатипятилетними замужними женщинами, открыто обсуждавшими между собой мои же достоинства и недостатки, молодым мужчиной, возвращавшимся с недоступного мне обеда из гостиницы «Москва» (5 рублей!), так называемой бабкой, 1918 года рождения, в течение долгих десятилетий копавшейся в ворохах жалоб при всех председателях суда и оставлявшей рабочую

поверхность стола абсолютно чистой по окончании трудового дня — школа! Жалобы, жалобы, жалобы, дела, дела, дела. Я запоминал страницы в книгах по статьям УК РСФСР: например, если закрывал любимый журнал «Иностранная литература» на 103-й странице, достаточно было отложить где-то в сознании — «умышленное убийство». Анализ уголовных дел — это было ремесло, в котором я достиг совершенства. И мог заниматься всю жизнь, но не стал.

И перестал быть копией отца.

Выходил «Бюллетень Верховного суда СССР», в котором печатались разборы наиболее сложных, запутанных ситуаций и давались четкие рекомендации, как правильно решить то или иное дело. Для судей всей страны это было практическим подспорьем и способствовало единообразной судебной практике. Были в «Бюллетене» и мои публикации. Одной из них я особенно гордился, так как дело по моему докладу было рассмотрено на Пленуме Верховного суда СССР.

Некий молодой человек, осужденный за мелкое хулиганство к одному году лишения свободы, был повторно осужден за «лагерный бандитизм» к двадцати пяти годам. Конечно, я сразу заинтересовался его судьбой, ведь парень мог погибнуть. А фабула его «бандитизма» была очень простой: голодный отчаявшийся парнишка попросил другого, более «счастливого» заключенного, получившего посылку из дома, поделиться хлебом (тот получил целую буханку). Нарвавшись на отказ, тот попросту отнял хлеб (отрезал полбуханки), и вот финал: сломана жизнь на 25 лет вперед… Я подготовил проект протеста о переквалификации его преступления со статьи 59-3 УК РСФСР (бандитизм) на тихую, полузабытую статью 144 — вымогательство, предусматривавшую 2 года лишения свободы, а с учетом отбытого срока в протесте ставился вопрос об освобождении этого молодого «бандита». Протест подписал зампред Верховного суда А.Ф. Тарасов, знавший моего отца по прошлой совместной работе.

Пленум протест удовлетворил, информация об этом была опубликована в «Бюллетене». Я ходил с журналом и показывал его знакомым. Все меня поздравляли и хвалили: вот это да! Акции мои как юриста поднялись, я знал, что меня выдвигают на должность старшего консультанта.

Но судьба распорядилась иначе. Общественная жизнь захватила меня. Нетерпимость к несправедливости, желание помочь товарищам выдвинули меня на комсомольскую работу. Я был избран секретарем комсомольской организации Верховного суда. Были, видимо, кроме энтузиазма, и некоторые

организаторские способности, так как наша структура стала одной из лучших в районе. Знали меня и как постоянного лектора райкома комсомола, внештатного инструктора отдела пропаганды. В общем, на очередной районной конференции меня избрали членом бюро райкома. Надо было разрываться на две или даже три части.

Единственное, что меня спасало, — это изменение в лучшую сторону всей моей жизни: я женился 4 июля 1950 года. Моя Деля полностью понимала и поддерживала меня. А ей всегда было нелегко, ведь меня почти не было дома. Наш первенец Сережа воспитывался практически без родителей — бабушкой Любовью Герасимовной и соседкой Розой Григорьевной. Жил он в своей половине комнаты, отгороженной занавеской, где играл, делал уроки и заводил грампластинки на проигрывателе, в основном революционные песни.

Брат унаследовал от отца его конформизм, но он трансформировался в нечто очень странное. Например, в то же пристрастие к революционным песням, жанру очень специфическому, нагруженному исторической семантикой. Возможно, это был первый шаг брата к профессии историка, причем по кафедре истории КПСС — при своем крайне скептическом, ироническом и в то же время компромиссном уме он прочитал всего Ленина, не исключено, что его как читателя следовало занести в Книгу (рекордов) Гиннесса. Правда, эти самые революционные песни я помню плохо: если к ним в каком-то смысле можно отнести «Гуантанамеру», тогда да — было такое. Много раз.

От Розы Григорьевны в моей памяти остались только имя и отчество. Я всегда думал, что это такая наша родственница, тем более что имя и отчество были вполне подходящими для маминой линии. Оказалось, соседка. Коммунальный быт и в самом деле оказывался совсем не линейным — тут были и соседские доносы в органы, и самая главная помощь, помощь в воспитании ребенка.

В этой части мемуаров папа как-то широко распорядился временем — от свадьбы в 1950-м до революционных песен, которыми увлекся брат, а это, пожалуй, начало 1960-х.

Отец не дожил до золотой свадьбы две недели. Мама пережила его на несколько месяцев. Два кадра — медовый месяц в Одессе, папу, маму и Эмму Мхитарян (без нее мама не могла провести даже медовый месяц) сносит волной, они загорелые и счастливые; затем — два года спустя, лето 1952-го: съемная дачка на Лосиноостровской, лето, жара, усталая, исполненная материнства, но веселая мама, давно не стриженный отец, без

рубашки, в широких полотняных белых штанах поднимает своими огромными руками моего полугодовалого брата. Интересно, кто снимал…

После моего довольно острого выступления на городской комсомольской конференции мною заинтересовался МГК ВЛКСМ. Пригласили на беседу, а затем я был отозван на общественную работу и стал инструктором орготдела Московского комитета комсомола.

Заведующей нашим боевым отделом была фронтовичка Лия Кутакова, создавшая дружную, веселую команду, которая задавала тон в работе комсомольских организаций города. Секретарем горкома, ответственным за организационную и кадровую работу, был В.Я. Павлов — очень знающий и собранный, но несколько занудливый человек. Каждую неделю он проводил совещания, на которых в пух и прах разбивал наши отчеты за неделю, ехидно наставлял.

Заканчивал так: а теперь, ребята, сели на мотоциклы и вперед, на места! Рабочий день четко делился на две половины: до обеда — в организациях, на заводах, в НИИ и вузах, а вторая половина — за рабочим столом в МГК, отписаться, заполнить бумаги, дозвониться по срочным делам.

Нашим кумиром и строгим преподавателем был Георг Мясников — второй секретарь МГК, безбоязненно, на равных беседовавший с любым министром и с партийным руководителем: «Комсомол требует!» Ему шли навстречу без всяких оговорок.

Георг Мясников был воплощением эффективного управленца тех времен. С 1951-го — второй секретарь МГК, всего на два года старше отца, казался возрастным и мудрым товарищем: весь в клубах папиросного дыма, крупно вылепленная голова, очки. Молва приписывает ему инициирование комсомольских рейдов против стиляг, но не думаю, что такого рода замыслы исходили от номенклатурных низов столицы — кампания-то была всесоюзная. Потом он много лет работал на разных партийных позициях в Пензе, был, что называется, «народным секретарем». Такая фигура, дозированно сочетавшая самостоятельность, независимость и соблюдение идеологического и номенклатурного канона, была бы замечена и сейчас. Но, как и в те времена, никто бы не дал подобного рода управленцу выдвинуться на первые позиции в регионе или взлететь слишком высоко в иерархии центрального аппарата.

Работал Мясников с юмором. Например, в субботу собирал нас к концу дня и, улыбаясь, говорил: «Ребята, сейчас мы едем на Пироговское водохранилище — завтра всемосковский слет

туристов». И мы бросались к телефону, чтобы предупредить домашних, что дома будем только в понедельник. Затем грузились на катер и на легкой волне неслись к заданной бухте, ставили палатки, разводили костры, пели, пели и пели комсомольские песни, организовывали молодежь на завтрашний день. Все были свои, понимали нас с полуслова. Самым лучшим блюдом нашей походной кухни было ведро компота, которое торжественно выпивалось утром перед туристской эстафетой. Зимой вставали на лыжи. При нашей городской зачуханной жизни мы смогли их освоить в комсомоле, когда нам было уже по 28 лет.

Соревнования устраивались на трудной, незаезженной местности — на базе «Спартака» в Планерской. Трассы проходили по долинам, но в основном и по взгорьям. Тяжко было идти стандартную трассу — 10 или 15 км, но надо было показывать пример братве, и на расхлябанных прокатных лыжах с мягкими креплениями мы отважно карабкались по склонам и кубарем летели вниз. Это было счастливое время.

Спорт — важнейшая составляющая жизни родителей. У мамы был высокий разряд по спортивному туризму — она водила в опасные горные походы своих учеников-старшеклассников, были переходы по всяким там ледникам и перевалам и во взрослых компаниях — там, по крайней мере, она не несла ответственности за жизни подростков. Разумеется, всё это проходило не без приключений. Например, в 1950-е годы произошла история, словно бы списанная с известного анекдота: в горной Сванетии они наткнулись на абрека, который скрывался в горах и не знал, что Великая Отечественная уже закончилась. А на базарах в отдаленных закавказских регионах альпинистки-скалолазки в спортивных шароварах производили фурор — местные жители такого никогда не видели.

Огромный свод семейных фотографий — все на лыжах. Сколько себя помню — впереди маячат отцовская спина и голова в старомодной лыжной шапочке, я — за ним. Однажды он так на моих глазах долетался «кубарем» — сломал плечо, врезавшись в сосну. Друзья написали ему в больницу, в травматологию ЦКБ, что-то вроде: «Небось повсюду вазы, ковры и унитазы, а в унитазах — черная икра… Но всё же, право слово, выписывайся, Вова, тебе помогут только 300 грамм…» Или 200, уже не восстановить по памяти…

И эти комсомольские спортивные выезды… Какой-то немыслимый энтузиазм, настолько чрезмерный, что он заменяет стоическое самоограничение — на кой черт Мясников распоряжался об отмене выходного для своих затурканных

сотрудников, и только ради того, чтобы вторгнуться в туристический отдых москвичей. Дался отдыхающим этот десант комсомольцев из горкома!

Любимым местом отдыха номенклатурного плебса был пансионат «Клязьма», где лыжи тоже были главным развлечением: движение шло по шикарному, почти дремучему лесу, до вольера с ланями. После изнурительной прогулки можно было припасть к горлышку напитка «Саяны» — это единственный элемент сегодняшней линейки черноголовских лимонадов, который удивительным образом сохранил аутентичный советский вкус, что позволяет мне воспринимать его как машину времени, доставляющую в определенное место в определенном десятилетии — 1970-х. Ничего подобного с другими знаменитыми марками тех лет, например, «Байкалом», не происходит: вкусовые рецепторы помнят всё и потому обнаруживают фальшь в любых иных напитках…

Кроме лыж важнейшим из искусств для всех советских людей были футбол и хоккей. Не случайно однажды объединили издания «Футбол» и «Хоккей», создав еженедельник со сдвоенным названием. Это же было всего лишь сезонное разделение: летом — футбол, зимой — хоккей. Да и профессионализация произошла только на рубеже 1950-1960-х, когда футболисты перестали быть одновременно хоккеистами или игроками в русский хоккей. На этих качелях — футбол/хоккей — и качался досуг советского мужского населения.

С ранней юности папа болел за «Спартак» — и в футболе, и в хоккее, обожая в поздние годы Федора Черенкова и Александра Якушева. А началось все, возможно, потому, что это тоже было идеологически обусловлено пристрастием к чтению книги Рафаэлло Джованьоли о восстании Спартака. Хотя в конце 1940-х все болели или за «Динамо» (Москва), или за ЦДКА, а работая в органах власти, он был приписан к обществу «Динамо» — куда деваться…

Мне же никогда не нравился «Спартак» — ни в хоккее, ни в футболе. Хотя, конечно же, я отдавал должное, например, хоккейному «Спартаку» эпохи Якушева-Шадрина и футбольному времен Юрия Гаврилова и Федора Черенкова. Но сердце мое было отдано тбилисскому «Динамо».

«Райнштадион» в Дюссельдорфе. 13 мая 1981 года. Финал Кубка обладателей кубков, «Карл Цейсс» (Йена) — «Динамо» (Тбилиси). Мне было 15 лет, с конца 1970-х я болел за тбилисцев. Точнее, за «профессора» — Давида Кипиани. А еще за Владимира Гуцаева, укрощавшего мяч, имевшего с ним особые, личные отношения и не замечавшего защитников, безжалостно лупивших

его по ногам, и Отара Габелию, которого интересовал только его собственный кошачий прыжок.

И я помню эту телевизионную картинку. Сначала показали, как на замену выходил Нукри Какилашвили, он уже весь был там, на поле, в игре, арбитр же задержал его, проверял бутсы. Потом показали, как, говоря словами великого комментатора Котэ Махарадзе, Рамаз Шенгелия «обходит одного, второго», оставляет мяч Владимиру Гуцаеву, и тот вколачивает его в ворота.

Ну а затем состоялся такой же важный гол в истории советского и грузинского футбола, как и для канадского хоккея — гол Пола Хендерсона за 34 секунды до конца последней игры в суперсерии Канада — СССР. Закончив карьеру, он, кстати, стал священником — а как еще Хендерсон мог истолковать историческую миссию, выполненную им 28 сентября 1972 года?

Виталий Дараселия получил пас, ушел вправо, убрал мяч под себя, все ждали, что он опять уйдет вправо, а он ударил неожиданно левой ногой и поймал вратаря на противоходе. «Представляю, что сейчас творится в Тбилиси», — одна из самых известных фраз Махарадзе. Хотя моя самая любимая: «Пока мяч в воздухе — коротко о составах» (тогда «Динамо» играло с «Ливерпулем». Потом еще были победы над «Вест-Хэмом» и «Фейенордом»).

Леонид Ильич, выступая на приеме в честь 60-летия установления Советской власти в Грузии, сказал: «Не подвели и тбилисские динамовцы: овладели одним из самых почетных европейских призов. Не зря мы все за них болели».

С тех пор каждое 13 мая, особенно, когда по возрасту обрели право выпивать, мы с будущим футбольным комментатором Михаилом Мельниковым выходили на балкон его квартиры на 22-м этаже на «Юго-Западной» и орали «Ди-на-мо!» с ударением на последнем слоге. Потом, конечно, повзрослели и бросили это дело, но память о 13 мая осталась. А Виталий Дараселия в 1982-м погиб в автомобильной катастрофе. Давид Кипиани, на мой вкус, самый изящный, точнее, изысканный игрок в мировом футболе, разделил судьбу Дараселии в 49 лет. Умер и Рамаз Шенгелия — в 55 лет…

Я приезжаю в Тбилиси, в город, где молодые люди никогда не опаздывают, не очень любят застолья и свободно говорят по-английски, включаю телевизор и пытаюсь смотреть футбол.

И всякий раз как будто оказываюсь на одном из московских стадионов — мне хочется дать этим ребятам стартовый пистолет.

Хорошо, ходите по полю со спущенными гетрами, тяните время, когда выигрываете, но покажите класс. Один финт стоит мессы. Ну неужели им не хочется быть похожими на Гуцаева?

Гипнотизировать мяч, устраивать вокруг него, точнее, с ним этот мистический танец, играть для зрителя так, чтобы он вставал, как вставал стадион «Динамо» имени Ленина в Тбилиси, все 80 тысяч, когда на замену выходил Гуцаев? Неужели им не хочется гарцевать по полю с аристократической посадкой — так, как это делал капитан сборной СССР Александр Чивадзе? Лупить по мячу обаятельной лысой головой, как Реваз Челебадзе? Плюнуть в рожу судье, как Шота Хинчагашвили? Накачать такие же ноги, как у Манучара Мачаидзе или Тенгиза Сулаквелидзе? Неужели не хочется ловить мяч, даже самый легкий, с артистизмом Отара Габелии? Неужели они не изучают часами мягкую пластику похожего на Дон Кихота Давида Давидовича Кипиани? И где теперь пресловутая 35-я школа города Тбилиси, которая готовила в 1960-е гениев, где кутаисские футбольные традиции, которые дали чуть ли не половину состава «Динамо» конца 1970-х — начала 1980-х?

И я выключаю телевизор — лучше смотреть с Мтацминды на мерцающий, подрагивающий в темноте теплый город, где живут люди, которые скоро как четыре десятилетия тому назад несли на руках футболистов, вернувшихся из Дюссельдорфа. Где теперь есть новомодный мост под народным названием «Прокладка» и китайская гостиница, в которой нет грузинской кухни.

Что это вообще было? И что это есть? Когда мы с Мельниковым опубликовали много лет назад в «Огоньке» очерк о «Динамо» (Тбилиси), ко мне в кабинет пришла Лера Новодворская. Тяжело дыша — от болезней, но и от гнева, — она, прожигая сильные очки суровыми, как приговор военного трибунала, диссидентскими глазами, сказала мне: «Я думала, ты столп либерализма и римского частного права, а ты — империалист!» Она имела в виду, что ностальгия по «Динамо» — постыдна, потому что это ностальгия по СССР. «Лера, — ответил я, — а кто ест постоянно конфеты „Мишка“ фабрики „Красный Октябрь“, этот символ воинствующего совка, и дарит их товарищам по работе?!» Кажется, это был единственный случай, когда великая Новодворская, с которой мы работали в этой жизни в трех редакциях, не нашлась, что ответить — срезать оппонента. Я заслужил советскую конфету…

Да, это была ностальгия по совку. Хотя за тбилисцев я болел и корпел над самоучителем грузинского языка (помню, там был перевод двусмысленной фразы «Сибирь — суровый, но прекрасный край»; а какие перспективы открывали слова «Ицнобт ам гогонас?» — «Вы знакомы с этой девушкой?») не только потому, что они превращали футбол в искусство, но и потому, что в них было что-то антисоветское. Как и в тамошнем кино, для

которого, мнилось, была отведена специальная резервация. Как и для литовской фотографии с ее морщинистыми стариками и нагими, не в фокусе, женщинами. Как и для эстонской прозы. Как и для латвийского побережья — «места отдыха творческой элиты».

Как… Как для любого нормального мальчишки 1970-х, хоккей значил для меня больше, чем футбол, но болел-то я не за закатывавший всех в лед ЦСКА, а за рижское «Динамо», даже тогда, когда мой кумир Хельмут Балдерис переехал в Москву и играл в тройке с Виктором Жлуктовым и Сергеем Капустиным, а сам я тренировался в детско-юношеских «Крыльях Советов», не испытывая никакой эмоциональной привязанности к этой команде — от элементов фиолетового в их форме меня подташнивало. А до этого меня отсматривал на ледовой арене в ЦСКА на Ленинградке бывший защитник сборной Владимир Брежнев, и я запомнил только массивный перстень-печатку на пальце тренера и его многоэтажный мат, когда во время моей показательной раскатки кто-то из юношеского состава чуть не убил меня шайбой.

И ведь в том, рижском, «Динамо» тоже было что-то «анти». Против течения. Против мейнстрима. Против монополии. Против этих матерящихся армейцев. Я боготворил Владислава Третьяка, но какое это было счастье, когда за одну игру Балдерис, выступая за Ригу, вколотил ему четыре шайбы…

Что же с этим сделать — это была моя страна, и я был в ней одновременно «за» и «против». И были способы, оставаясь с этой страной, оказываться и «за», и «против».

Гуцаев провел очень мало игр за сборную. Кипиани — тоже. Хотя это очень странно, потому что, при всей красоте его игры, она была не самодостаточна, а прагматична. Сказано же — «профессор». Тренеры национальной команды предпочитали надежных защитников — Сулаквелидзе и Чивадзе. И не готовы были дать по-настоящему раскрыться даже «забивале» Рамазу Шенгелии, который просто всегда находился в нужное время в нужном месте, чтобы обеспечить встречу мяча и сетки ворот.

Дараселия тоже играл в сборной. Помню его в матче с бразильцами на чемпионате мира 1982 года — ничего у него не получалось. Как будто это был не тот Виталий, обладатель Кубка кубков. Наверное, он просто волновался. Тогда гол забил Андрей Баль. И этот гол я помню. Господи, почему память оставляет эту картинку, этот слайд, который уже никуда никогда не исчезнет: черно-белый телевизор — и в нем Баль лупит по воротам бразильцев так, что их вратарь не может поймать закрученный и отскочивший от испанского газона мяч? Какой гол…

А может, это и есть «скрепа»? Скрепа без кавычек. Не та, о которой твердят там, наверху, а объединяющая память поколений. И до сих пор склеивает страну…

Запах этого клея там, наверху, ощущают отчетливо. Потому и выстраивают «Легенду № 17», и приватизируют ее. Он же, эта легенда, Валерий Харламов, не может ответить, он давно погиб. Друзья же его, заседающие в Думе или играющие в ночной лиге с начальством, помалкивают, как будто не видят, что там, в этом цветном кино, одно вранье. Показали в этом фильме Александра Гусева — героя без страха и упрека. А кто его выпер, отслужившего во славу сверхдержавы много лет, из ЦСКА в СКА (Ленинград)? Кто устроил ему партийно-правительственный разнос за то, что грубо сыграл против чеха? Нельзя было этого делать, оказывается, из соображений политкорректности. Но Гусев, что ли, войска в августе 1968-го в Прагу вводил?..

Я помню этот номер 6: Дараселия Виталий Кухинович. Он обладал какой-то особой пластикой, легкий, невысокий, а двигался, как будто был немного грузным, с крестьянской грацией. Прямые черные волосы. Абхаз. Парень из Очамчиры. Был я там в командировке во время войны в 1993-м. Грузия воевала с Абхазией. Парня из Очамчиры с лицом героя итальянского неореалистического кино уже 11 лет как не было в живых. Он принес славу Грузии. Он принес славу Абхазии. Он принес славу империи. Он ушел из жизни сильно заранее, как будто понимал, что тот его гол не спасет ни Грузию, ни город у Черного моря, в котором он родился, ни страну, которую как ни скрепляй клеем «Момент», тем моментом, 13 мая 1981 года, а всё равно она разваливается. И люди продолжают стрелять друг в друга.

Тогда Дараселия мне казался невероятно взрослым мужчиной. Но когда он забил этот самый важный гол в истории грузинского, а по мне так и советского, футбола, ему было всего 24 года, а когда погиб — 25. Мальчишка!

Много их было, номеров, скреплявших страну. 17-й — Харламова. 20-й — Третьяка. 10-й — Кипиани. 19-й — Балдериса. 9-й — Гуцаева. 6-й — Дараселии, наконец. Испанская, русская, латышская, абхазская, осетинская, грузинская кровь.

Судьба империи меня не волнует. Все они разваливаются. Римская, Оттоманская, Габсбургов, Гогенцоллернов, британская, советская. И суета вокруг скреп нелепа и искусственна. Вот только болеть мне не за кого…

…В начале 1970-х, а может, и раньше в более или менее продвинутых поселках ЦК рядом с подлинно русскими городошными площадками появились теннисные корты. Игроков было немало — откуда они взялись, было решительно непонятно.

Ведь теннис оставался признаком то ли элитизма, то ли легкой внутренней фронды (что по сути одно и то же).

Я начал играть всерьез в тринадцать лет, когда летом 1978-го в поселке «Кунцево» появился длинноволосый, хиппиобразного вида, худощавый физрук со специализацией не на футболе, а на теннисе. Я проводил на асфальтовых площадках по четыре, пять, семь часов в день, стирая кеды в хлам. Мячи становились лысыми за сутки.

Марки ракеток и мячей оказывались пропуском в другой мир. Можно было бы сказать — виртуальным пропуском, если бы тогда наличествовало такое слово. Эти ощущения рождают ностальгию, схожую с ностальгией по советскому хоккею, но прямо противоположной направленности: хоккей был патриотичен, теннис — антипатриотичен. Не зря теннисистку Ольгу Морозову, игравшую слишком эффектно, с 1977 года не выпускали на Запад.

Может быть, поэтому я купил однажды в антикварном магазине в болгарском Созополе «машину времени» — деревянную ракетку *Slazenger*, отливающую черным лаком, теплую на ощупь, с летящим силуэтом пумы и надписью *Made in England*, хотя был равноценный соблазн купить другую, тоже хорошую, которую на рубеже восьмидесятых мне едва достали, — с надписью *Tallinn*. Такая ракетка требовала гораздо большей концентрации, чем сегодняшние, ее головка у́же.

Я наблюдал за игрой взрослых мужчин, одетых во всё белое, включая «белые теннисные туфли» (именно так), — то ли работников международного отдела ЦК, то ли их сыновей. Готовясь к приему подачи, они коротко бросали: «*Ready!*» У них были ракетки *Wilson* и не белые мячи с надписью «Ленинград», а ярко-зеленые, точно такие, какими играют сегодня. Их техника казалась безупречной. И это не мандельштамовский милый дореволюционный теннис «средь аляповатых дач, где шатается шарманка, сам собой летает мяч, как волшебная приманка». Это был скорее набоковский теннис — не запрещенный, но игра прямиком из тамиздатовских книг.

Тогда был подлинный *Lacoste*, еще не потерявший связи с теннисом, и белые пуловеры и безрукавки, использовавшиеся по назначению. Эпоха подлинности и нераздражающей иерархии консервативных ценностей — в собственном смысле этого понятия. Отголоски которой, да и то отчасти, ощутимы сегодня только на Уимблдонском турнире.

Как когда-то само звучание имен канадских хоккеистов разрывало железный занавес и очеловечивало Запад, так и фамилии теннисных звезд, их поведение на корте вживую свидетельствовали о возможности другой жизни. Да, Джон

Макинрой швырялся в ярости ракетками, за такое любого нашего теннисиста поперли бы из профессионального спорта, но он был живой и другой. И не было никого сексуальней непобедимой Крис Эверт Ллойд. И был нечеловечески обаятелен ее непутевый муж Джимми Коннорс, обладавший грацией уличного хулигана.

Нет более дистиллированной ностальгии, чем спортивная. Когда устаешь от мельтешения блистательного атлетизма и неправдоподобной скорости, залезаешь в *YouTube* и отдыхаешь на более медленном, пластически ином, но оттого более интересном хоккее семидесятых, в который играют мужчины сантиметров на 20 ниже нынешних, из недокормленных послевоенных поколений. Их эмоции или подавление эмоций кажутся более органичными и правдивыми, в меньшей степени рассчитанными на публику. Финалы старых Уимблдонов можно смотреть внимательно, взгляд не устает от пушечной баллистики, зато нюансированно видна техника. Например, финал 1974-го, где Морозова проиграла Эверт Ллойд. Две девчонки — одна с двумя хвостиками и бантиками, вторая — с одним.

Звуковой и визуальный ряд тенниса тот же самый — на протяжении десятилетий. Вздох ошеломленных зрителей: «А-ах!» Аплодисменты. Публика — респектабельная, в темных очках. Комментаторы — спокойные, сдержанные, аналитичные. Голос судьи — джентльменский. Так же сдержанно болеют за игроков родные и близкие.

Но главное — хлопок мяча, встречающегося с ракеткой. Этот феномен вне времени и пространства. Как и физика и физиология тенниса. Подрагивающий от жары воздух. Постукивание мячом перед подачей — в поисках идеальной человеческой, очень человеческой точки опоры. Резкий старт от задней линии к сетке. Уставшая и потная рука, скользящая по шортам. Или так: «Подбросить мяч, назад согнуться, / молниеносно развернуться, / и стру́нной плоскостью сплеча / скользнуть по темени мяча, / и, ринувшись, ответ свистящий / уничтожительно прервать, — / на свете нет забавы слаще… / В раю мы будем в мяч играть». Это Набоков, подрабатывавший в Берлине теннисным инструктором, времен его ровесницы «быстроногой Ленглен», «Университетская поэма», 1927 год. (Кстати, Сюзанн Ленглен с взлетавшим воздушным платьем, обнажавшим белые чулки, фотографировали так же охотно, как и Шарапову сегодня — и было за что: достаточно посмотреть записи 1920-х годов этого восхитительного балета с ракеткой и мячом.)

Ныне теннис не является ни атрибутом диссидентства, ни поводом для патриотизма. Путин не звонил Шараповой, «богине в платье до колен» (Набоков), когда она победила на *Roland Garros* в

2014 году. От теннисистов не требуют клятв в верности России, как от представителей иных видов спорта. Чистый космополитический спорт.

Тем и хорош. «Дар богов», как говорил Мандельштам.

* * *

Часто приходилось работать с комсомольцами театров. Замечательным секретарем комсомольской организации театра им. Станиславского был Евгений Леонов, впоследствии актер мирового класса. В жизни он был такой же, как Лариосик из «Дней Турбиных» — искренний, простодушный и надежный товарищ. Его слушались беспрекословно, это была власть авторитета-таланта — не авторитет власти, что особенно ценилось молодежью театра. Подружились мы с секретарем комсомольской организации Центрального детского театра Олегом Ефремовым.

Как-то после очередного прогона спектакля мы с Олегом и актером Геннадием Печниковым обедали в буфете театра, то есть жевали резиновые сосиски с бурдой, называемой кофе. Олег затеял разговор о молодежном театре, о засилье «стариков» и зажиме молодых актеров. Я подзуживал собеседников: ну, чем не встреча Станиславского и Немировича-Данченко в «Славянском базаре». Печников серьезно отнесся к разговору: «А что, надо бы организовать свой театр для молодежи. Вот ты, горком, и поддержи». — «Я-то поддержу, но надо делом доказать свою правоту». — «Вот и докажем!» — твердо отрезал Олег.

Репетиции проходили поздним вечером или ночами после спектаклей. Молодые актеры, старшекурсники школы-студии с энтузиазмом трудились под руководством Олега Ефремова над спектаклем «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова. Московский горком ВЛКСМ поддержал инициативу комсомольцев по созданию молодежной студии, в газетах была дана соответствующая информация, и всё завертелось.

Премьера удалась, были серьезные одобрительные рецензии. Театр родился.

Так папа, не став театральным актером, о чем он мечтал подростком и юношей, вернулся в театр в качестве комсомольско-номенклатурной «крыши» — уже не взлохмаченным подростком-энтузиастом, а зрелым молодым мужчиной, облеченным властью, внешне похожим на героев итальянского кино.

Конечно, театр-студия не случайно назывался «Современник». И не случайно возник в 1956-м, став частью процесса

десталинизации. Закономерно и то, что первой постановкой «Современника» стала пьеса Виктора Розова «Вечно живые» — ее действие происходит в войну. А ребятам, давившимся резиновыми сосисками, не сравнялось и тридцати — они были из поколения родившихся в самом конце 1920-х и едва не попавших на фронт. Ефремов был на год старше отца — 1927 года рождения. Леонов еще на год старше. Печников — тоже 1926-го. Ровесники, ученики московских школ, пережившие подростками войну, — папа чувствовал себя среди них своим. «Курируемым» повезло больше — из драмстудий они шагнули в театр. Отец — нет.

Я всегда старался не уходить из специальности, быть «в курсе» и поэтому поступил в заочную аспирантуру ВЮЗИ — Всесоюзного юридического заочного института на кафедру уголовно-процессуального права. Еще в научном студенческом обществе я увлекся процессуальным правом. Теперь это увлечение пригодилось. Кафедрой руководила Татьяна Варфоломеевна Малькевич — доцент, крупный специалист, она в силу своей принципиальной позиции пребывала в «контрах» с мэтром теории уголовного процесса профессором Строговичем — ярым последователем европейского буржуазного права. Я впервые очутился в гуще идеологической борьбы и с трудом перестроился с «буржуазных позиций», вбитых в меня учебниками Строговича, на «марксистско-ленинские». Кстати, это мне мешало не раз при публикации статей — всякое слово против господствующего мнения Строговича воспринималось в штыки, да и при защите диссертации чувствовались закулисные интриги.

Лысая голова членкора Строговича была известна нескольким поколениям советских юристов. Классик умер на 90-м году жизни, когда уже я учился то ли на втором, то ли на третьем курсе. Его учебник теории государства и права читать было необязательно, но считалось особым шиком. В уголовном процессе он придерживался просто здравых взглядов на предмет, решительным образом расходившихся с практикой советского правосудия: например, Строгович отстаивал принцип состязательности уголовного процесса. С одной стороны, кто бы с этим, кроме, кстати говоря, той самой Малькевич, спорил? С другой стороны, кто придерживался этого правила, например, в годы репрессий?

Со Строговичем всё было сложно. Начать с того, что он родился еще в XIX веке и начал обучаться праву, как сказал бы Остап Бендер, до эпохи исторического материализма. Звали его Михаил Соломонович, то есть он был евреем. При всей его приверженности буржуазному, то есть общечеловеческому

процессуальному праву, Строгович уже в 1939-м получил звание члена-корреспондента АН СССР. Конечно, в положенное время он стал «космополитом», но потом очень быстро вернул свой прежний авторитет, и хрущевская реформа всех отраслей права, включая уголовный процесс, — это и его дело.

Несмотря на то что папина диссертация была посвящена высшей инстанции и называлась «Судебный надзор Верховного суда СССР по уголовным делам», в ней можно было найти отголоски битв разных научных школ. Это был труд на почти 400 страниц, научный руководитель Малькевич в списке литературы была упомянута лишь два раза, зато Строгович — шесть раз. Однако именно потому, что автор диссертации полемизировал со своим идолом: старый профессор отказывался считать надзор Верховного суда СССР принципом советского уголовного процесса, отец решительно доказывал обратное. Еще на 100 страниц было опубликовано статей. Одна из них была посвящена Верховному суду США и носила заведомо грустно-критиканское название «За мраморным фасадом». Защитился папа в 1962 году, начав работать над диссертацией как раз вскоре после истории с «резиновыми» театральными сосисками.

Празднование защиты диссертации проходило в «Национале», где официантки, впав в лирическое настроение, задумчиво слушали романсы, которые пел под гитару новоиспеченный кандидат… А потом друзья, собравшиеся вокруг папиной семиструнной, запели хором.

Пели они в том числе русифицированные союзнические песни — все-таки это было поколение 1945-го, его представители имели шанс быть открытыми миру, шанс, который Сталин закрыл в 1946-м. И, например, в бодром «И в беде, и в бою об одном всегда пою…» (композиция, исполнявшаяся джаз-оркестром Варламова, в литературе лишь однажды упомянутая — Юрием Нагибиным) я спустя много лет узнал *Roll along covered wagon* в исполнении оркестра Гарри Роя. Что уж говорить про «Путь далек до Типперери», исполнявшийся даже хором Красной армии. И кое-что из репертуара оркестра Эдди Рознера. Например, «Ковбойскую», изумительно стилизованную под американскую музыку. И «американские» слова: «Мы ворвемся ночью в дом, мы красотку украдем, если парня не захочет полюбить». После чего кто-нибудь из поющих должен был дискантом отвечать: «Ну зачем красотку красть, вы же можете пропасть, ее можно просто так уговорить». А потом хор друзей родителей должен был грянуть: «И-о-о, и-о-о, и-о-о-о, и-о-о-о, если только конь хороший у ковбоя, и-о-о, и-о-о, и-о-о, и-о-о, и пивные попадаются в пути».

Ах как дорог был мне этот хор из того времени, когда деревья

были большие, и они еще не пошли на те дрова, которые я наломал потом в жизни…

Интересно, что за литературную основу «Ковбойской» отвечал трубач рознеровского оркестра Юрий Цейтлин, потом много чего сочинивший, в том числе слова папиной любимой песни, одного из лучших советских композиторов Павла Аедоницкого, «На седьмом этаже» («Я знаю, ты ждешь меня дома, ты ждешь меня там, на седьмом этаже…»), которую исполнял Эмиль Горовец. Музыку же к «Ковбойской» сочинил человек ковбойской судьбы — польский еврей Арон Гекельман, взявший себе псевдоним Альберт Гаррисон. Он не знал нот, а музыку сочинял блистательную — соответствовавшую задачам джаз-оркестра.

Учиться в аспирантуре при моей занятости было нелегко. Выглядело это так: в 10 часов вечера укладывался спать Сережа за занавеской, а я раскладывал на обеденном столе свои книги и лихорадочно, с тяжелой головой, писал, писал, писал, не надеясь особенно на успех, так как знал, что на очередном заседании кафедры, членами которой были в основном молодые женщины, меня разнесут «до основанья, а затем…», и строгая Татьяна Варфоломеевна пройдется буквально по абзацам и даст рекомендации, по которым мне еще работать и работать по вечерам. Хотя я был аспирант-заочник, спуску мне не давали. Но несмотря ни на что учебы я не бросал.

Моему брату Сереже тогда было лет пять-шесть. Коммуналка в Старопименовском, откуда два десятка лет тому назад забрали главу семейства — тестя моего отца. Друг друга они никогда не видели. Еще лет шесть-семь оставалось до получения отдельной квартиры.

Отец, молодой и амбициозный, преодолевая себя, пишет диссертацию, много работает, и в тогдашней системе селекции кадров это не остается незамеченным.

Но и мама не менее успешна: едва начала работать учителем французского — и уже в конце 1950-х выходит написанный ею с ближайшей подругой Эммой Мхитарян и коллегой Викторией Бахмутской учебник для первого года обучения языку в спецшколах. Для всего СССР! (Правда, сколько тогда было школ «с преподаванием ряда предметов на французском языке»? Совсем мало, если из одной только московской второй спец вышла вся франкофонная элита страны.) А вслед за этим — сразу — учебник для второго года обучения. Авторам — около тридцати, они еще совсем недавно обучались в институте Мориса Тореза. Особенно хорош учебник первого года — по его картинкам можно изучать быт затонувшей послевоенной советской Атлантиды со всеми его деталями и представлениями о

социально-ролевых функциях: отец в семье — унылое существо, выглядящее старше своих лет, с неизменной газетой и в галстуке, мать — либо в характерных тапочках, либо в жутком деловом костюме, мальчики — в форме с ремнем, девочки — в босоножках и носках. Над круглым столом — лохматый абажур, попадается даже телевизор. Но лучше всего смотрятся ностальгические улицы с деревьями, «Победами» и непременной сталинской высоткой вдалеке.

Французский я почти не изучал. Но поскольку мама десятилетиями — в буквальном смысле до своей кончины — преподавала разновозрастным ученикам язык на дому, он стал фоном повседневной жизни. Свободно читая, я едва говорю по-французски, зато первые двадцать секунд разговора, пока не обнаруживаются провалы в памяти и грамматике, франкофоны держат меня за своего — прононс впитан с молоком матери в буквальном смысле слова. В Париже я отдаю предпочтение левому берегу — Латинскому кварталу, бульвару Сен-Мишель, Сорбонне, Сен-Жермен-де-Пре, Сан-Сюльпис, антуражу мая 1968-го, кафе с профессурой, копающейся в собственных лекциях, букинистическим лавкам. Ну, может быть, еще мосты и берега Сены похожи на тот Париж, который я впервые увидел в маминых книгах и антологиях. Мир до 1968-го. Из которого 1968-й тем не менее органически и вырос — трудно представить себе студенческую революцию в иных, нежели парижские, декорациях.

Май-1968 легко переложить на язык балета. Это был рай для профессиональных фотографов, которые запечатлевали человеческую пластику в моменты наивысшего и одновременно изысканнейшего напряжения — человек, швыряющий булыжник, может быть графичен и красив. Особенно если после этого выясняется, что он не столько разбил морду полицейскому, сколько изменил мир, переведя его по вектору полета булыжника из индустриального в постиндустриальное состояние, из старомодной буржуазности — в модерн, из политической ригидности — в политическую гибкость.

Май-1968 оказался революцией снизу, когда общество заставило государство измениться и встать вровень с ним: политический и культурный ландшафт западного мира стал иным. То, что было контр-культурой, в сущности, стало просто культурой. Политической культуры это тоже касалось.

1968-й — это и другие городские декорации, тоже обморочно красивые: «Пражская весна» — понятие широкое, потому что, например, в родстве с ним находились студенческие волнения в Польше того же времени, но именно в Чехословакии власти оказались на стороне народа, хотели изменений и осуществляли

их. Только мир к востоку от железного занавеса, на котором красовалась отнюдь не чеховская чайка, оказался до такой степени негнущимся, что вместо разморозки государства, начавшейся на Западе, состоялась его заморозка — скрип снега невозможно было на слух отличить от поскрипывания сапога энкавэдэшника и жестяного голоса народного судьи.

Это был рай — по обе стороны занавеса, в Париже и Праге — не только для фотографов, но и для интеллектуалов. Лозунг парижской революции — «Под булыжниками — пляж (*plage*)» французский журнал *Le Magazine Litteraire* к сороковой годовщине Мая-1968 переделал в «Под булыжниками — страница (*page*)». (А сейчас — пост, статус, запись в соцсети.) Могла быть и нота. Не нота МИД СССР, а музыкальная нота.

Скороговорка революции «Делез-Фуко-Бурдье-Деррида-Сартр…» заканчивалась портретом Мао. По поводу чего Джон Леннон написал умную и полную скептицизма песню *Revolution*, намекнув, что он не с теми, кто за разрушение (хотя состоялось не просто разрушение, а, по Шумпетеру, которого в Сорбонне не упоминали, созидательное разрушение): «Мы все хотим изменить мир, но, когда ты говоришь о разрушении — знаешь ли, на меня не рассчитывай».

Они ведь, носящиеся с портретом Мао «мечтататели», и не подозревали, что вышли не из гоголевской, как к востоку от занавеса, а из гегелевской шинели. Революция трех «М» — Маркс, Мао, Маркузе. Они и не подозревали, что опровергают своим существованием Маркса — капитализм адаптировался к требованиям студентов и всех-всех-всех бастовавших, присоединившихся к «студентам и распоясавшимся профессорам» (определение не какого-нибудь там министра образования Франции, а члена ЦК Компартии Чехословакии Васила Биляка, вступившегося за сносимого волной пражских событий первого секретаря ЦК КПЧ и президента ЧССР Антонина Новотного). Они и не подозревали, что архаичный Мао уже никуда не годится, ни в какую красную армию. Хотя другое дело Герберт Маркузе — да, он всё сказал о них еще до 1968-го в «Эросе и цивилизации» (идея «отказа» от сотрудничества с системой, с «представителями старого порядка», которые, «защищая его существование, одновременно защищают разрушение, безумное потребление, загрязнение и, значит, приносят в жертву сам порядок») и особенно в 1964-м, в «Одномерном человеке», книге, которая, в общем, описывает путинскую систему, доросшую наконец до модели капитализма западного общества образца начала 1960-х годов.

«Ты говоришь, что у тебя есть готовое решение, да, но знаешь

— хотелось бы увидеть план», — пел Леннон. Плана не было. Потому что Май-1968 был не планом, а симптомом, не дорожной картой, а дорогой. Симптомом того, что всё меняется и надо этим изменениям соответствовать. Это понял даже несгибаемый, как флагшток, де Голль.

А вот к востоку от занавеса план как раз был. Во всяком случае, политические свободы сами брали один плацдарм за другим, а идеологию экономической реформы сформулировал экономист Ота Шик. Чтобы раздавить план, понадобились советские танки.

И всё это происходило вроде бы на фоне всеобщего благоденствия и спячки. 15 марта 1968 года колумнист «Монда» Пьер Вианссон-Понте опубликовал текст под названием «Франция скучает». Грохнуло очень скоро. Зато уже в июне прошла демонстрация голлистов, которая и не снилась Суркову или Володину, ибо не была проплаченной и хорошо темперированной. Они хотели порядка. Но, в сущности, нового порядка. С учетом мнения, так сказать, трудящихся и пролетариев умственного труда. И западное общество стало иным — потому что нет иного пути развития, кроме как через кризисы. Необходимо только понимание того, что кризисы несут очищение от того, что устарело. И если не цепляться за архаику, можно удержаться у власти даже и без омоновских дубинок.

Достаточно просто соответствовать времени. Как говорил по аналогичному поводу строгий Шарль де Голль, «реформам — да, карнавалу — нет». С ним бы и Леннон согласился.

В августе 1956 года меня приняли в партию. (В кандидаты я вступил еще в парторганизации Верховного суда.) Поскольку я продолжал работать в комсомоле, мне был сохранен комсомольский билет, врученный еще 8 марта 1943 года.

Но пора было думать и о дальнейшей взрослой жизни — не всё время же с комсомольским билетом бегать. Конечно, без партии и без Красной Пресни я свою жизнь не представлял, да и ребята меня не забывали. И вот с сентября 1956 года я стал инструктором Краснопресненского райкома партии в отделе пропаганды и агитации.

Отец не упоминает XX съезд — он так поглощен текущей работой, своим братством («ребята»), что изменения в стране, а не в низовых парторганизациях проходят лишь фоном. Оттепель же! Или она ему казалась совершенно естественной?.. В 1956-м папе 28 лет. В дни Карибского кризиса — 34 года. Париж и Прага 1968-го — ему 40. В 1971-м, во время скандала с *Pentagon Papers* — 43. В мемуарах нет и намеков на эти события. Не проходили же они мимо него стороной… Но он вспоминает о важном лично для

него. История — лишь фон, гул, декорации…

Волшебным образом ровно за день до 60-летия доклада Хрущева на XX съезде я случайно купил в букинистическом магазине «Оттепель» Ильи Эренбурга 1956 года издания. Оно, разумеется, не первое. Илья Григорьевич принес рукопись в редакцию «Знамени» в начале 1954-го, она увидела свет очень быстро, в майской книжке, затем вышла отдельным изданием — скромным по советским меркам тиражом 45 тысяч экземпляров, словно бы кто-то, озираясь на начальство, пробовал воду. В декабре 1954-го на втором съезде советских писателей повесть ругали, память Сталина почтили вставанием. В своих мемуарах Эренбург сетовал на то, что повесть немедленно разошлась, но допечаток не было. В Венгрии «Оттепель» была издана тиражом 100 экземпляров для партийного руководства. Издание 1956 года с изящной акварельной суперобложкой, попавшее мне в руки, сдано в набор в сентябре 1956-го, а до этого его надо было еще поставить в план «Советского писателя» — то есть сам издательский процесс стал очевидным следствием февральского пленума и доклада о культе личности. Или, скорее, июньского постановления ЦК о преодолении культа личности и его последствий.

Но тираж — опять пугливый, 30 тысяч… Эренбург очень много значил для поколения моих родителей — а как могло быть иначе, если его роман мог начаться с нездешних слов «Мастерская Андре помещалась на улице Шерш-Миди», и за это еще и давали Сталинскую премию первой степени, — поэтому в нашей домашней библиотеке его произведений тех лет немало. Есть с чем сравнить. И эти 30 тысяч — ничто по сравнению, например, с романом «Девятый вал», вышедшим в 1953-м тиражом 150 тысяч экземпляров. Это там, где в конце произведения происходит апогей — демонстрация на Красной площади, «Нина Георгиевна смотрела на Сталина; он улыбался…»

В «Оттепели» Сталин не улыбается. В этой, в сущности, слабой повести, но по-ремесленному мастерски сделанной в жанре производственной драмы, улыбаются люди. Тиран только умер, а у Эренбурга они улыбаются. Плачут. Страдают от запретной любви. Мучаются от собственного приспособленчества. Заводской персонал состоит из людей со сложными характерами — они постоянно творят, выдумывают, пробуют и зверски ссорятся. Еще не пожелтела бумага с доносом Лидии Тимашук на врачей-убийц, а у Эренбурга Вера Григорьевна Шерер, врач-еврейка, положительный и мечущийся персонаж, вдруг остается на ночь у любимого человека, которому 58 лет и у которого дочь за границей. Больше того, герои Эренбурга успели прочитать

роман Василия Гроссмана — имеется в виду «За правое дело». В конце повести значится: 1953–1955. Значит, Эренбург что-то дописывал после журнальной публикации, возможно, как раз про Гроссмана тихо, в полстроки, почти контрабандой и дописал.

А один из героев «Оттепели» Евгений Владимирович Соколовский, главный конструктор (здоровье не бережет, в любви к докторше признаться боится), говорит о времени, которое, как считают 29 % сегодняшних россиян, принесло «больше плохого, чем хорошего», а 23 % убеждены, что «не принесло ничего особенного», ключевые слова: «Выпрямились люди». В мемуарах «Люди. Годы. Жизнь» Эренбург вспоминает, как весной 1956 года к нему пришел студент Шура Анисимов и сказал: «Знаете, сейчас происходит удивительное — все спорят, скажу больше — решительно все начали думать…»

Выпрямились и начали думать. То есть в терминах нашего нынешнего карикатурного пародийного языка, которым вдруг заговорила нация, — встали с колен. Не тогда, когда захотели обратно в пропахший «Герцеговиной флор» уют сталинской шинели, а когда почувствовали запах оттепели, тающего снега, пахнущего огурцом, перестали стесняться рефлексии и начали обретать человеческие чувства.

И этой повести — осторожной и почти проходной — было достаточно, чтобы ее название дало имя целой эпохе, одной из самых продуктивных в истории страны. И всё потому, что таким чутким и перезревшим было ожидание перемен.

Сейчас перемен не ждут — их гонят из реальной жизни, и, что хуже, из голов и душ. В этом принципиальное отличие той эпохи от сегодняшней, отличие времени, предшествовавшего перестройке, от нынешней посткрымской эры всеобщего «одобрения деятельности».

Но в монолите иногда очень быстро обнаруживаются зазоры и трещины. А власть, представлявшаяся прочной, далекой, сработанной на века, как сталинский дом, при ближайшем рассмотрении оказывалась трухлявой. Наверное, не мне одному выдающийся художник Борис Иосифович Жутовский, сначала обруганный Хрущевым, а потом сблизившийся с ним, рассказывал историю про то, как чуть ли не на следующий день после смерти Сталина он пошел на лыжах посмотреть на ближнюю дачу вождя в Волынском — поскольку жил (да и сейчас живет) неподалеку. В заборе этой, в сущности, главной после Кремля географической точки страны зияла здоровенная дыра, через которую можно было легко проникнуть в святая святых: «Тихо, никого нет — охранная будка с выбитыми стеклами… И только одна тетка выходит в ватнике, в валенках, с ведром, и идет к речке полоскать тряпки…»

Сказано же — оттепель…

Наш райком пробовал новые формы работы и, наверное, первым в стране предложил новую должность «сквозного инструктора» райкома. Практика нас убедила, что это неправильно, когда первичной организацией «руководят» сразу несколько инструкторов — из отдела промышленности, орготдела, отдела пропаганды. Лучше бы иметь дело с одним представителем райкома, который отвечал бы за все вопросы в деятельности организации. Это требовало нового типа низового партработника, но партия к этому еще не была готова. Нас вначале горячо поддержали и в МГК КПСС, и в ЦК, но через три года наш «эксперимент» тихо закрыли за неимением нужных кадров.

Этим административно-организационным нюансам отец уделяет внимание гораздо большее, чем в принципе переменам в стране. Характерно и вот это клише: «Партия не готова». И ведь получается, что структура, правившая страной, не могла наскрести достаточное число кадров, которые отличались бы универсальным пониманием проблем. Даже в Москве. Ресурсная база коммунизма была не слишком велика.

А пока мы работали с увлечением. Если раньше у инструктора отдела было по 80-100 парторганизаций, то при новой системе на каждого приходилось по 14–16 организаций, за которые мы полностью отвечали — «головой», и кое-что удавалось сделать. За мной был закреплен так называемый творческий куст. Наш промышленный район включал в себя и творческие организации — Союз писателей СССР, Московское отделение СП (потом СП РСФСР), Союз журналистов СССР (с ЦДЖ), Союз кинематографистов, Консерваторию, ГИТИС, Театр им. Маяковского. Плюс к этому — все дома культуры, кинотеатры, и в нагрузку — Геологоразведочный институт.

Топография старой Москвы, лучшие маршруты, включая точки тогдашних «употреблений внутрь» творческой интеллигенции. Целая вселенная, населенная удивительными людьми и потрясающими историями. Эту вселенную, разворошенную к тому же XX съездом и фактически уже наступившей эрой «шестидесятничества», задевал по касательной скромный молодой инструктор райкома партии.

И вот что из этого получалось.

* * *

Наступали новые времена, с новыми настроениями,

появлялись первые «диссиденты» и это в первую очередь сказывалось на состоянии умов моих подопечных. Начались поездки за границу. Это добавило хлопот. Ведь на каждого выезжающего составлялась характеристика, которую должен был подписать секретарь райкома после стандартной фразы: «Морально устойчив, делу партии Ленина-Сталина предан».

Но секретарям райкома не очень-то хотелось брать на себя такую ответственность. И по утрам можно было наблюдать такую сценку. Я с пачкой характеристик (особенно много было из Союза писателей) с виноватым видом вхожу в кабинет Бориса Ивановича Шабанова, первого секретаря РК, и протягиваю ему бумаги на подпись. Он грозно рявкает на меня: «Опять ты со своими диссидентами!» или так: «Опять ты со своими евреями!» Борис Иванович был из рабочих, пришел в райком с Трехгорки и не особенно стеснялся в выражениях: «Давай, катись отсюда!» Я уходил и стучался в кабинет второго секретаря по строительству. Тот кривился, но подписывал. Если и его не было, то шел к третьему секретарю — Арефьевой Нине Петровне. Та меня хорошо понимала и без разговоров визировала.

Характерно, что до XX съезда в характеристиках еще писали «делу Ленина-Сталина предан» — без официальной оценки сталинизма не менялись и оценки неофициальные… Пролетарий с Трехгорки не видел разницы между людьми творческих профессий, норовящими отправиться за границу, и евреями. «Еврей» в данном случае не национальность, а некая потенциально враждебная, но еще не «вскрытая» социальная группа. Характерно использование термина «диссидент». Если отец в своих воспоминаниях не ошибся, значит, это слово употреблялось партработниками уже в то время. Диссидентского движения не было, а слово — было. В административном смысле это, конечно, подстава низового работника: характеристики всё равно надо было подписывать, но товарищ Шабанов просто боялся брать на себя ответственность, перекладывая ее на плечи низового работника. Очень по-пролетарски…

Так я познакомился со многими писателями, еженедельно бывал на заседаниях парткома и Секретариата СП. Секретарем парткома был уважаемый всеми Сергей Сергеевич Смирнов, первым секретарем СП — знаменитый Федин, который не любил заседать и после первого перерыва уезжал на дачу, за стол — писать. Поэтому решения принимались в спешке. Федин при приеме нового члена Союза нервно спрашивал: «Кто-нибудь читал его?» Если таковой находился или, того лучше, претендент предъявлял записочку от известного писателя, вопрос решался незамедлительно, и нового члена все облегченно поздравляли. Но

если творчество претендента не было известно, открывалась бурная дискуссия и кандидатуру дружно проваливали. Правда, бывали случаи, когда кто-нибудь вспоминал: «Подождите, ведь я смотрел кинокартину по его сценарию», — вопрос решался положительно, а Федин по-доброму прощался со всеми.

Писал Федин или нет в те годы — большой вопрос, хотя последнюю часть своей трилогии, наверное, все-таки медленно, но поднимал, как целину. Однако то, что он, пуганый и стреляный бывший «серапион», предпочитал прятаться в своей переделкинской башне из слоновой кости и единственное его желание при всех обстоятельствах сводилось к тому, чтобы от него все отстали, — судя по этому фрагменту, чистая правда. Благодаря спасительному торопливому равнодушию патриарха многие писатели могли приобщиться к кормушке, с помощью которой государство приручало инженеров человеческих душ — для поддержания политической конструкции. И на этой уклончивости и способности ускользать Федин продержался первым лицом в СП почти двадцать лет. Травли Пастернака и Солженицына пришлись на его период правления. И он очень подходил своей должности — в облике присутствовала политическая тяжеловесность: трубка, хорошие костюмы и галстуки, красивая седина, мрачноватый взгляд светлых глаз из-под творческо-кустистых бровей. А нетривиальный иконостас — от Сталинских премий до четырех (!) орденов Ленина — соответствовал биографии.

В домашней библиотеке был, но куда-то делся толстый охряный том произведений Федина, который читала только мама. Я его так ни разу и не открыл.

А больше всего мама с детства любила и выше всех других книг ставила «Белеет парус одинокий» Катаева и «Два капитана» Каверина. Как говорил мой старший товарищ, выдающийся фотограф Борис Матвеевич Кауфман, «я мальчишкой был приучен к этому: „Бороться и искать, найти и не сдаваться“».

Мамино детство было тяжелым, военным, с эвакуацией в Горьковскую область, возвращением в Москву, с невероятными потерями в семье, гибелью на фронте брата, смертью двоюродных братьев после блокады Ленинграда, репрессированным отцом. Но в детстве должно быть веселье, должны быть смысл, интерес, жизнь — и эти книги, благо очень толстые, надолго погружали ее в знакомые ощущения, запахи, образы и отвлекали от всего приключенческим сюжетом.

У кинематографистов шли бесконечные разборки, склоки, многие из которых выплескивались на бюро райкома и там благополучно разрешались. Бывшие противники шумно

целовались, обнимались и благодарили, как дети, секретарей РК.

Много забот было и с театром им. Маяковского, которым руководил знаменитый Н.П. Охлопков, прославившийся жестоким обращением с актерами. На репетициях стояла абсолютная тишина. Если кто-то в зале или на сцене смел разговаривать, Николай Павлович грозно цыкал и добавлял: «Вот ты, Лазарев, если еще кто-нибудь будет нарушать дисциплину, получишь выговор». Это действовало, ибо никому не хотелось подводить невиноватого товарища. Секретарем парторганизации была неувядающая Нина Мамиконовна Тер-Осипян, с которой мы очень дружили и хорошо работали. С Охлопковым она постоянно воевала за права актеров.

Одно время я вел в театре семинар по марксизму-ленинизму. Актерские нагрузки наблюдал вблизи: сначала с 10 до 11:30 я их терзал на семинаре. Потом начиналась репетиция — уже с терзаниями Охлопкова. Затем — перекус в буфете с сосисками и «кофе», с 5 до 7 — опять репетиция, доводка, шлифовка, а в 7:30 — уже спектакль. Плюс записи на радио, съемки в кино, поездки в Ленинград на сутки-двое, иначе не проживешь, оклады мизерные, жалуйся только на себя, ну, а мне как представителю райкома можно было поплакаться в жилетку.

Кстати, грозный лев по отношению к актерам, Охлопков превращался в шелковую кошечку, подобострастно заигрывал с молодым инструктором райкома, видимо, на всякий случай. Даже жалко было на него смотреть. По-видимому, такой стиль входил в правила игры и какие-то перспективные планы.

В моей «группе» только Александр Васильевич Свешников — в ту пору директор Консерватории — держался независимо, а соратником моим был директор ГИТИСа, знаменитый балетмейстер Ростислав Захаров, бессменный председатель всех наших районных жюри самодеятельных конкурсов — а у нас были очень сильные и талантливые коллективы на предприятиях, в вузах, училищах. Смотры и фестивали проходили на ура. И везде я оказывался заместителем председателя жюри (чтобы было на кого ссылаться в случае чего).

Ничего вне партии, ничего помимо партии. Тридцатилетний инструктор райкома — не горкома, не ЦК! — представитель реальной власти, хозяин положения, с ним строит отношения — причем неприятно льстивым образом — сам главный режиссер. Прожил бы без этого инструктора театр? Разумеется. Но внимание власти было важным — и потенциально опасным, в том числе для актеров. Пусть эта власть и была представлена совсем молодым человеком, который и сам мечтал стать актером, и любил, и жалел их, ел те же в который раз упомянутые сосиски и

пил ту же бурду в театральном буфете.

Бурная жизнь, скверное питание в столовках и буфетах сделали свое дело: обострилась моя язва, нажитая в военные годы, всё чаще стал я попадать в больницы, лечение не очень помогало — тут я усвоил мудрую пословицу: все болезни от нервов. Но соскочить с карусели уже не мог. Плюс — мои профессиональные заботы.

Отцу запретили курить. Раза два в жизни я видел отца с сигаретой — это когда он выпивал с друзьями. Брата — лишь однажды, когда он на глазах у мамы закурил на кухне. К ее невероятному ужасу. Потушил сигарету и вперился в окно кухни в нашей старой квартире на Ленинском проспекте — с видом на торец соседнего дома. Это была сигарета отчаяния — он тогда разводился с первой женой. Меня это мало волновало — я крутился рядом и втягивал ноздрями запах запретного…

…Воздух после летнего дождя пахнет ароматизированными советскими сигаретами «Золотое руно». На белом фоне — корабль аргонавтов. Черный верх, и по нему золотыми буквами — «Золотое руно». Сигареты мы прятали в лесу в тайниках. Ну хотя бы потому, что только закончили то ли первый, то ли второй класс. Надо было скрывать это дело от взрослых, ну и от приятелей. Все-таки пачка стоила приличных денег, да и не продавали сигарет детям, что усугубляло дефицитность этого товара.

Что еще составляло ось запретного? Болгарские «БТ», «Родопи», «Ту-134», «Стюардеса» — именно что с одним «с», любимая брежневская «Новость» с причудливым белым фильтром, «Столичные», наконец. Перезагрузка по-брежневски — «Союз-Аполлон». Как первые «Жигули» несли в себе настоящие итальянские детали, так и эти сигареты поначалу содержали в себе вирджинский табак.

А у нас? Да что у нас… Встречаются директора одесской табачной фабрики и черкасской. Одесский директор спрашивает:

— Что вы такого кладете в свою «Приму», что она лучше нашей выходит?

Черкасский директор отвечает:

— Кладем туда опилки, стружки, мелкие щепочки, ветошь, а сверху — немножко табачку.

— А, так вы еще туда табак кладете!

А потом в этой жизни я видел многих выдающихся курильщиков. Попробуйте, например, несколько десятков лет быть ответсеком второй по важности газеты в советской (а потом и постсоветской) стране, все эти годы курить «Беломор» фабрики им. Урицкого и сохранять здоровье…

На жалобные просьбы отпустить меня в отпуск, положенный по закону для работы над диссертацией, секретари РК только улыбались и говорили: «Это ни к чему». Так я и корпел над наукой только по ночам, что не прибавляло, конечно, здоровья. При этом приходилось брать дополнительную работу в ВЮЗИ — проверки контрольных и курсовых работ студентов по 1 рублю за контрольную и целых 2 рубля за курсовую, на которые надо было составлять развернутые рецензии, выборочно обсуждаемые на заседании кафедры. Участвовал я в приеме экзаменов у несчастных заочников, которым всегда сочувствовал и получал нагоняи от завкафедрой за «либерализм», то есть за четверки и пятерки, которые я щедро раздавал замученным работникам милиции и прокуратуры, понимая, из чего состоит их жизнь. Наконец, я понял, что дальше так дело не пойдет: или-или — или диссертация, или такие нагрузки. И начал искать отходной путь.

В 1957 году было ликвидировано министерство юстиции СССР и его место заняла Юридическая комиссия при Совете министров СССР под руководством профессора МГУ Андрея Ивановича Денисова, которая оказалась в нашем районе. И вот я сумел перейти туда, используя дружеские связи. С боем, со скандалом оторвался от райкома и с трепетом явился в «храм юстиции», в среду изощренных юристов-профессионалов. И до сих пор благодарен судьбе, что решился на этот шаг.

«Пусть рушится мир, но торжествует юстиция» — так говаривали древние, и правильно. Я не хотел оставаться без специальности, а быть невежественным «специалистом по всем вопросам» мне не хотелось.

Вот — ключевая мысль: профессиональный партработник, профессиональный «революционер», менеджер широкого профиля — это и есть «невежественный специалист по всем вопросам». Отцу нравились советский строй и партия, но не нравилась депрофессионализированная работа внутри этой системы. Раз уж он получил ремесленные навыки и пытался их поддерживать. Разумеется, даже последующую его работу на самом верху партийно-государственной пирамиды трудно было назвать узкопрофессиональной. Как говорил, выпивая с отцом на кухне, адвокат Левенсон, «Володя, ты применяешь законодательство, а я его изучаю — так что не спорь со мной».

А Андрей Иванович Денисов — знаменитость и неординарная фигура не меньшего масштаба, чем Строгович. Все его основные ученики преподавали у нас на юрфаке, были значимыми величинами в Институте государства и права АН СССР или на госслужбе. Мы учились по его учебнику теории государства и права. Это был типаж мудрого «деда», патриарха. Умер он в 1984

году вовсе не старым, в 77 лет, но казался глубоким стариком, потому что был классиком в собственном значении этого слова.

Что это подразумевало — понятно из следующего фрагмента.

Встретили меня коллеги хорошо. Андрей Иванович по-отцовски расспросил, посочувствовал, но предупредил, что в отношении меня у него есть виды — оживление партийной работы в коллективе. Началась суровая юридическая школа.

Поначалу я плавал в хитросплетениях законодательных актов, а это было время обновления законодательства. Мы участвовали не только в составлении проектов новых законов, но и в очистке, отмене старых актов, что оказалось гораздо сложнее, ибо одним росчерком пера можно было неосторожно отменить, например, льготы по надбавкам к зарплате и пенсиям целым категориям работников отдаленных районов и т. п. Поэтому формулировки были очень заковыристые: «Отменить действие подпункта „е“ пункта 14 статьи такой-то в части, касающейся льгот для старателей такого-то района Тюменской области». Ошибки не прощались. Даже при самых тщательных проверках бывали пропуски каких-то статей, опечатки, а на страже всегда был юридический отдел Совмина — наш контролер и ярый конкурент, который тут же докладывал о «небрежной работе» Юркомиссии и получал грозные резолюции у А.И. Микояна — первого зампреда Совмина с вопросительным знаком: «Что у вас там творится?» И на следующий день издавался приказ об увольнении растяпы. Отношения с юротделом Совмина, конечно, были явно не товарищеские, но школу четкости, юридической точности мы прошли хорошую.

Это другой взгляд на советскую власть — как на бюрократию в смысле Макса Вебера. Без идеологии и с четкими канонами государственного управления, которые годились бы для любого режима. Без политического измерения, где тот же Микоян не соратник Сталина с длинным списком разного рода деяний в политической биографии, а функциональная единица в бюрократическо-менеджериальной пирамиде.

Однажды и я одной ногой ступил еще раз в карьерную колею отца — по совместительству работал советником первого министра юстиции новообразованной России, писал речи. Сочинил как-то пылкое выступление в пользу либерализации отдельных положений уголовного законодательства. Как выяснилось, они уже были либерализованы. Хорошо министр — Николай Федоров — не успел эту речь зачитать, более опытные товарищи поймали ошибку.

Но, кажется, это было уже последнее соприкосновение с юриспруденцией, если не считать написания диссертации,

которая так и не была защищена в силу стойкого отвращения к сбору бумажек и… той самой бюрократии.

Вскоре я был избран секретарем партбюро вместо моего друга А.И. Лукьянова, перешедшего в Верховный Совет СССР. Две недели он был вынужден ходить на работу в белой рубашке и держать галстук в сейфе на случай вызова на новую службу. У нас все-таки была «демократия» — ходили без галстуков и вообще. Потом в один прекрасный день Толя явился при параде и попрощался с нами. Пришлось действовать самостоятельно, без него было туго, не хватало мудрого советчика.

Всю оставшуюся политическую карьеру Анатолию Ивановичу Лукьянову пришлось проходить в галстуках: его уход в 1961 году в отдел аппарата Президиума Верховного Совета СССР, который, собственно, Советами и занимался, был только началом большого пути на самый верх. О Советах и их истории, функционировании, законодательном регулировании он писал диссертацию, у нас дома хранилась его толстая книга по этим сюжетам — всё было более чем серьезно.

Анатолий Лукьянов сыграл особую роль в моей работе и жизни. В зрелом возрасте редко возникает дружба. А здесь она вспыхнула сразу — что называется, родство душ. Я унаследовал не только рабочее место, но и партийную должность — Толя был прекрасным секретарем парторганизации, и можно сказать, что я продолжил его дело — создал традицию верного товарищества, сплоченного коллектива.

Я перешел в сектор иностранного законодательства на место А.И. Лукьянова, и мы с С.В. Боботовым дружно трудились, разделив весь законодательный мир на две части — англоязычную и франкоговорящую. Ежемесячно выпускался бюллетень иностранного законодательства, который составлялся нами вдвоем, печатался на ротаторе и рассылался по верхам — в ЦК, Совмин и основные министерства. Мы использовали официальные вестники законодательства США, Англии, Франции, Германии и других стран.

Кстати, парадоксальным образом научным руководителем Сергея Боботова был тот самый Михаил Соломонович Строгович, противник товарища Малькевич, научного руководителя моего отца. С Боботовым, специалистом по французскому праву, который потом выбрал не административную, а академическую стезю, папа не то чтобы дружил, но, судя по дарственной надписи «дорогому другу» в одной из книг, поддерживал отношения. Они были ровесниками и даже умерли в одном возрасте, в 72 года.

Интересно было бы сейчас взглянуть на наши чудовищные переводы незнакомых текстов с листа, без специальной

подготовки и опыта. Но ничего, проколов явных не было, наоборот, благодарили. Особенно Минобороны за данные по расходам на оборону. Меня поражала открытость актов Конгресса США, в которых высчитывались с точностью до цента расходы на конкретные нужды на каждой военно-морской базе, с указанием их местоположения, что весьма радовало наш Генштаб. А Госплану СССР были полезны наши переводы расходов очередного бюджета на новый финансовый год и т. п. Наш источник информации очень ценился, а мы с Сергеем Васильевичем надрывались и, конечно, без конца консультировались с опытными «зубрами» — специалистами из Минфина и Минобороны.

Как примитивно мы делали свой бюллетень! Получали из машбюро все 100–120 экземпляров машинописного текста и раскладывали на длинном столе заседаний Юркомиссии, обходя его по несколько раз, собирали в брошюры, отдавали их в переплет, а затем на отправку. И никаких технических работников…

Вот подлинная картинка сильно переоцененной и якобы могущественной советской номенклатуры. Работа с данными — слабая. Информационный голод, аналитическая недостача, технический примитив.

Парторганизация наша действовала успешно в тесном контакте с нашим руководством. А.И. Денисов задавал тон. Крупный специалист по теории государства и права, он был милейшим человеком и благородным наставником, для нас всегда примером. Занимая должность председателя Комиссии, приравненную к должности министра, отказался от министерской зарплаты и соответствующих правительственных льгот, получал профессорскую ставку в МГУ и слыл в верхах белой вороной.

Встречал всегда радушно, шлепая от своего огромного стола в домашних тапочках. Тут же заказывал чай, радостно улыбаясь, доставал из ящика стола сахар, почему-то кусковой, и столовым ножом колол его на полированной поверхности. В приемной сидела 68-летняя секретарша, распоряжавшаяся чаем и посетителями. На вопросы «Почему бы вам, Андрей Иванович, не взять в секретарши кого-нибудь помоложе?» Денисов отшучивался: «Зато никаких подозрений в моральном разложении».

Он вообще любил пошутить, что стоило ему в конце концов карьеры. На Всесоюзном совещании председателей юридических комиссий всех союзных республик и заведующих юротделами Советов министров Андрей Иванович, жизнерадостно осветив перспективы нашей работы, начал в своем стиле представлять

членов «высокого президиума» совещания. «Вот, обратите внимание на этого сурового человека с мрачным взглядом! Это, конечно, наш генеральный прокурор Руденко. А рядом с ним — унылый старик. Это председатель Верховного суда товарищ Горкин. Ну а далее — довольно мрачный и опасный человек — зав административным отделом ЦК КПСС товарищ Миронов…»

Карнавализация советского аппарата. Проблема комического в советской номенклатуре. Так можно было назвать действо, устроенное Денисовым. Это было посильнее диссидентства — вышучивание первых лиц, снижение пафоса власти, представление небожителей теми, кем они на самом деле являлись — людьми ограниченными, зашоренными, напуганными раз и навсегда теми полномочиями, которые им были даны, готовыми к жестокостям от этого испуга. И если не ущербными в интеллектуальном смысле, то зажатыми до полусмерти идеологическими рамками режима. К тому же они были людьми некрасивыми и смешными в своей напыщенности. Людьми в масках. Вообще говоря, самозванцами, которых вертикальная мобильность сталинского и постсталинского времени вознесла на самый верх.

Денисов устроил демонстрацию условности власти. Ее случайности. И всё это — на глазах у рядовых работников аппаратов юридических структур. Не было больше никакой легендарной для органов прокуратуры иконы — лишь мрачное существо. Человек в очках Горкин — декорация советского правосудия. Бровастый Миронов, в звании генерал-майора КГБ, — рвущийся к власти бывший учитель физкультуры. Клоуны, нечаянно принесенные разнонаправленными ветрами истории, но и вправду опасные клоуны!

* * *

Конечно, Миронов после первого перерыва уехал в ЦК, буркнув: «В этом балагане я участвовать не желаю». Из сейфа было тотчас же извлечено давнее заявление Андрея Ивановича с просьбой освободить его от должности председателя, так как это мешает его научной деятельности, и на ближайшем заседании секретариата ЦК было решено «удовлетворить просьбу т. Денисова», чему Андрей Иванович был искренне рад и благополучно завершил свою карьеру и жизнь на юрфаке МГУ.

Конечно, мы были потрясены, лишившись такого замечательного руководителя: его простота, демократизм, глубокие знания осветили нашу жизнь. По его учебникам учились

поколения советских юристов.

Миронов снял с должности не только решительно чуждого ему по духу Денисова. Но и Хрущева. В буквальном смысле: он был движущей силой заговора против первого секретаря, дружил с Брежневым, способствовал продвижению наверх «железного Шурика» Шелепина и Семичастного, и, если бы не погиб в 1964 году в авиакатастрофе, мог бы стать одним из первых лиц в стране. Правда, стране от этого еще хуже не стало бы — ей и так было нехорошо от элит, которые ею управляли.

Брежнев потом долго не утверждал на должность завотделом административных органов генерала Николая Савинкина, человека слишком мягкого. Но Миронова уже было не вернуть, и Николай Иванович проработал на этой позиции, как мы уже знаем, в течение всего застойного времени.

Между тем надвигались большие перемены. Первые всполохи грядущих гроз, раскаты грома будущей перестройки.

Шестидесятые как раскаты грома будущей перестройки… Даже трудно сказать, в позитивном или негативном смысле говорит об этом свойстве оттепели отец. Тогда, как и сейчас, в известном смысле тоже было «единство», но только на основе не строительства осажденной крепости, а, напротив, некоторого размывания ее фундамента. Сейчас Сталина вносят в массовое сознание как одну из «скреп», как один из исторических «якорей» для «правильного» понимания, что такое хорошо, а что такое плохо, а тогда его выносили — и из мавзолея, и из умов.

Политический режим в позднехрущевские времена тоже цеплялся за прошлое — но не за темные его страницы, а те, которые были серые, — романтизировал и обелял. Тогдашним «мейнстримовским» коммунистам, в отличие от нынешних, у которых ничего, кроме Сталина и одновременно крестного знамения, не осталось, и в голову бы не пришло обложить цветами могилу вурдалака.

Никто не носился с фиктивным примирением «красных» и «белых» — власть четко заявляла, на чьей она стороне. Но «красные» были этакие добрые рыцари, и у них имелись идеалы, а не скрепы (если, конечно, не иметь в виду прочную марксистско-ленинскую основу, но она оставалась декорацией, а кто же всерьез обращает внимание на фон).

Оттепель была большой чисткой идеалов, но для того, чтобы двигаться вперед, а не самосохраняться и отливаться в граните. Сейчас же провонявшие отсыревшим сараем скрепы извлекают из подвалов имперской истории, чтобы изготовить из них хоругвь и с песнопениями двигаться как можно дальше назад — приблизительно как во времена опричнины, но с айфонами и

телевизионными тарелками, чтобы в любой глухомани принимать сигнал федеральных каналов.

Пиар хрущевской эпохи оказался очень удачным — объявить часть истории хорошей, противопоставив ее плохой, и назвать себя прямыми наследниками хорошего — особенно революции и Великой войны: это стратегия *win-win*.

Но при этом оттепель могла похвастаться реальными достижениями — не прошлого, а настоящего. Полет Гагарина и сегодняшним общественным мнением оценивается как одно из величайших достижений в истории страны. Но ведь он почти совпал с передачей Крыма! Как же одно вяжется с другим?

Да, Хрущев орал на художников, которых он обзывал «абстракцистами» и еще одним нехорошим словом на выставке в Манеже. И шельмовал молодых поэтов и писателей. Но что это были за «абстракцисты», какого запредельного уровня! И какие это были поэты и писатели — их же можно читать и сегодня: тот же ранний, адаптированный к коммунизму Аксенов несравним ни с чем из того, что производится сейчас.

Еще раз: речь не о конкретно-исторических обстоятельствах хрущевской версии социализма, авторитарной с элементами тоталитаризма, а о духе эпохи.

Негласный контракт сработал: одни соглашались на очищенный и романтизированный социализм без Сталина, но с Лениным (с этого, кстати, начинался римейк оттепели — горбачевская перестройка), а другие допускали некоторое расширение степеней свободы. И этого оказалось достаточно для того, чтобы изменились настроения, появились феноменального уровня для подцензурных обстоятельств литература, живопись, кино, театр. Возник культ науки, и интерес к Западу формировался через внимание к его научным успехам.

У этой эпохи был стиль. Люди даже одеваться старались не так скучно и коряво, как в 1970-1980-е. У этой эпохи была… эстрада. И на том месте, где сейчас штырем торчит невыносимая пошлость, у шестидесятнической попсы обнаруживались наивность и, если угодно, нежность. Советские шлягеры дали язык, которым можно было говорить не о Ленине, а о нормальных человеческих чувствах. Пьеха пела с иностранным акцентом, Кристалинская проникала в душу — «он прошел и не заметил», Мондрус оголяла плечи и ноги до колен, и, страшно сказать, при этом у нее был голос!

Физики, лирики, Гагарин, «голубые огоньки» с космонавтами и даже обещанный в 1961 году коммунизм составляли, если угодно, позитивную программу для мейнстримовского большинства и быстро росшего городского среднего класса,

переселявшегося в маленькие, но отдельные квартиры, территорию частной жизни.

Шестидесятые дали мечту. Эта мягкая сила составляла конкурентное преимущество оттепели, притом что грубой силой власть пользовалась неумело, едва не подняв на воздух весь мир во время Карибского кризиса.

Режим мог чувствовать себя в полной безопасности: большинство разделяло базовые идеологические принципы. Но только потому, что они казались органичными этому типу общества. Да, атомная бомба нужна. Однако по причине, которая сформулирована в «Девяти днях одного года», где герой Алексея Баталова, физик-ядерщик, объясняет отцу: мол, если бы не бомба, батя, нас бы давно уже на земле не было. Популярное обоснование мутной доктрины ядерного сдерживания.

Всё это примиряло людей с режимом. До поры до времени — пока он не впал в спячку после 1968-го. Тогда уже процесс примирения продолжался не на основе единства идеалов, а на лицемерии, взаимном обмане и равнодушии. Что и взорвало империю изнутри — цинизм как всеобщая конвенция сдетонировал сильнее, чем рухнувшие цены на нефть и милитаризация экономики.

Ведь развал империй и режимов происходит прежде всего в головах.

Вот мы и завидуем — тайно и явно — шестидесятым. Их достижениям, их обращенности в будущее, ощущению исторической правоты, согласию людей с самими собой и — до некоторой степени — даже с властью. Их романтизму, наивности и доброте.

И это, если угодно, наша контрпамять, которую мы противопоставляем сталинизирующемуся официозу. У них Сталин, у нас — шестидесятые, тем более что они существуют в живой памяти, и пластинка с какой-нибудь «Гуантанамерой» наворачивает свои круги перед внутренним — детским — зрением, просмотр же черно-белого данелиевского или хуциевского кино — это не отстраненное наблюдение за чужой эпохой, а узнавание.

Официозная память гордится чем угодно, только не духом шестидесятых. Ей неприятно, что это был короткий период, когда нация действительно была в известном смысле единой, а держава — по крайней мере по общему ощущению — великой.

Карикатуре всегда неприятен подлинник. Слякоть твердо знает, что она не оттепель.

Партийную работу я не бросал. Меня не забывали и часто привлекали к разного рода проверкам и подготовке вопросов на

бюро РК и МГК КПСС, где я был утвержден внештатным инструктором орготдела. Не забывал меня и комсомол. По поручению ЦК ВЛКСМ выезжал в командировку в Черниговскую область, но материал мой не понравился секретарям ЦК — слишком острый. Тогда вожди ВЛКСМ уже заигрывали с местными комитетами, старались сгладить углы, особенно накануне предвыборных кампаний. Вообще у меня сложилось плохое мнение о верхушке ЦК ВЛКСМ. Это были скороспелые выдвиженцы, карьеристы, причем не очень грамотные, невежественные недоучки. Характерно, что всё бюро ЦК комсомола состояло из провинциальных деятелей, москвичей в нем не было, да и в аппарат из московского комсомола упорно никого не брали. Видимо, побаивались интеллигентов, ищущих новые формы работы.

Единственный случай проникновения москвича в ЦК был с Сергеем Павловым — бывшим секретарем физкультурного института и секретарем Красногвардейского РК ВЛКСМ Москвы, а затем первым секретарем МГК. Да и то случайно — он отличался редкой красотой, типичный Иван-царевич. Тот самый «румяный комсомольский вождь», белокурый витязь, пленивший сердце тогдашнего секретаря ЦК и МГК КПСС Екатерины Алексеевны Фурцевой, которая взяла его под опеку и усердно продвигала вплоть до поста первого секретаря ЦК комсомола.

То, что мне казалось неискоренимым недостатком системы, а именно: отрицательная селекция, последовательное ухудшение «породы», качества элиты — отцу представлялось искажением ее изначально справедливой природы. Ну, примерно как сталинизм был отклонением от ленинизма. Характерен фрагмент о Сергее Павлове, первом секретаре комсомола и потом спортивном министре, фигуре весьма консервативной, однако, на фоне всех остальных, выступающей в мемуарах неординарным персонажем. Отец считал его москвичом, полагая, что это, среди прочего, выделяло Павлова на общем фоне. Но он москвичом не был — родился во Ржеве, там и провел детство, отрочество, юность, поступив в Москве в Институт физкультуры и продвинувшись по комсомольско-спортивной линии. Его карьера была фантастически быстрой, с вертикальным взлетом — главой комсомола он стал в 30 лет, будучи почти ровесником отца, на год младше. В самом начале своего пути в 1959-м, когда создавались народные дружины, Павлов произнес: «Поставить заслон всем этим говёным рокам». И в принципе все оставшиеся комсомолу три с небольшим десятилетия были посвящены строительству разного рода заслонов. И не только «рокам».

Но это было исключение из правил, стиль работы определяли

«керивники» с Украины и из областных центров, насаждавшие маленькие «культики», самомнение, подхалимство, личную преданность и прочие прелести аппаратного мира.

Не был исключением и знаменитый вождь комсомола А.Н. Шелепин — самонадеянный, грубый, властный руководитель, с которым судьба меня сводила не раз и всегда оставляла горький осадок от общения, особенно в дни Фестиваля молодежи и студентов в Москве, когда я работал в составе оргкомитета, а Шелепин бесцеремонно вмешивался в наши дела.

Власть в Москве, безусловно, была… региональной. И потому — глубоко провинциальной. То, что считалось вроде бы очевидным преимуществом: происхождение из самых низов, «школа» работы в регионах, райкомах, обкомах и т. п. — не добавляло качества управлению, а убавляло. Самонадеянные и безграмотные люди, готовые управлять хоть спортом, хоть сельским хозяйством, — результат кадровой политики Советской власти, которая в результате своей эволюции уперлась в потолок недееспособного брежневского Политбюро, клуба пикейных жилетов и игроков в бисер, считавших, что они управляют страной. И развал этой страны был предопределен не только и не столько военными расходами убийственного масштаба, и падением цен на нефть, и даже клинической смертью идеологии, которая состоялась гораздо раньше, чем была официально констатирована, но и фантастически низким уровнем управленческих кадров. Собственно, именно качество менеджмента и понимание проблем предопределили и застой, и изоляцию, и чрезмерные оборонные расходы, и оправдание этого всего марксизмом-ленинизмом, и всепроникающий цинизм. И тут я бы поспорил с теми, кто говорит, что, например, в аппарат ЦК попадали в основном высококлассные профессионалы. Да, селекция в этом случае работала, но лояльность и приспособленчество, правильная биография и индоктринированность официальным мумифицированным марксизмом-ленинизмом были важнее квалификации.

За успешное проведение Фестиваля молодежи и студентов первый секретарь ЦК ВЛКСМ Шелепин А.Н. получил почетную грамоту ЦК ВЛКСМ…

Судьба свела меня с ним снова через несколько лет. Решено было восстановить ленинскую систему контроля, воссоздать ЦКК-Рабкрин. Андрей Иванович Денисов пригласил меня и без обычной улыбки объявил, что я вызван в ЦК КПСС. С холодком в душе я в назначенное время появился в кабинете секретаря ЦК партии А.Н. Шелепина. Высокомерно поздоровавшись, он сразу огорошил: «Ты секретарь парторганизации Юркомиссии?» —

«Да». — «Что же ты распустил там всех?» — «Как это?» — «Да вот история с Денисовым. Да что вы вообще там делаете?»

«Как что? — уже более уверенно начал я, поняв, что здесь какой-то навет. — Недавно нами подготовлен и утвержден правительством проект Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик и ряд других правительственных актов». — «Ну, ладно, ладно, — перебил он меня. — Есть такое мнение, что тебе надо поработать в новом контрольном органе — Комитете партийно-государственного контроля при ЦК КПСС и Совмине СССР. Как ты?» — «Александр Николаевич, — взмолился я, — благодарю за честь, но я не могу». — «Как это?» — его мрачный взгляд не предвещал ничего хорошего. На своей ноге я почувствовал тяжесть ботинка своего визави — зава общим отделом Комитета партгосконтроля Серова, который меня представлял Шелепину. Глаза Серова выражали ужас: как это можно — дерзить секретарю ЦК! «Да, — продолжал я, — только что я защитил диссертацию и хотел бы продолжить работу по специальности».

Тут я совсем успокоился, вспомнив предыдущие встречи с этим весьма ничтожным человеком в бытность его первым секретарем ЦК ВЛКСМ. Надо же — мне опять придется с ним работать! Настроение испортилось. «Ну всё, идите! — резко отрубил бывший комсомольский вождь. — Цените доверие партии!»

Я с облегчением вышел, абсолютно уверенный, что он меня отвергнет. Но, увы, на следующий день милый Андрей Иванович зачитал мне выписку из постановления Секретариата ЦК КПСС об утверждении меня с 1 марта 1963 года инструктором КПГК.

Этот холодный прищур, сжатые губы, поднятая левая бровь… Шелепин уже тогда со всей свойственной ему жесткостью, побывав в роли председателя КГБ, как танк шел к вершинам власти. В 1958-м, когда Александр Николаевич был назначен в Комитет госбезопасности, он поразил до глубины души даже много чего повидавшего Ивана Серова, которого Хрущев сдвинул с поста руководителя КГБ на позицию главы ГРУ, оставив при этом прежние привилегии. Серов записал в дневнике: «… комсомолец Шелепин мне позвонил и потребовал освободить занимаемую казенную дачу. Я ему спокойно разъяснил, что за мной ЦК и Совет министров всё сохранил, что ему об этом следовало бы знать. Я был удивлен, что молодой деятель начинает свою службу с дачи. Силен».

КПГК и в самом деле обладал гигантскими полномочиями, по сути это был орган, который мог парализовать любую деятельность в государстве, обнаружив подлинные или мнимые

нарушения и проступки. Это было государство в государстве. К тому же у «железного Шурика» вес был увеличен вторым креслом — зампреда Совмина Союза. После успешного заговора против Хрущева он стал членом президиума ЦК и был готов переиграть «временного» первого секретаря Брежнева. Но уже в декабре 1965-го его освободили от всех должностей, а в 1966-м был реорганизован и потерял свою гигантскую власть КПГК. Леонид Ильич «укрепил» Шелепиным профсоюзы и продолжал внимательно следить за активностью Александра Николаевича, чтобы тот, не дай бог, не усилился, но при этом не выводил его из Политбюро. Закончит свою карьеру Шелепин на посту зампреда Госкомитета по профтехобразованию.

А пока отцу предстояло трудиться под началом рвущегося к политической вершине энергичного руководителя, полного надежд и уверенности в себе. Что стало преддверием к главному шагу в папиной карьере. Во времена жесткой иерархии успех измерялся вполне внятным образом.

На следующий день я уже был в огромном доме на улице Куйбышева, 23, — теперь здесь разместился Конституционный суд России (отец писал мемуары в начале 1990-х; высшей конституционной инстанции здесь больше нет. — *А. К.*), в огромной комнате, как оказалось, бывшем кабинете В.В. Куйбышева, где находился юридический подотдел КПГК, состоявший из четырех человек. На нас возлагалось юридическое обслуживание руководства и всех отделов Комитета. Шелепин каждый понедельник выдавал нам повестку дня очередного заседания Секретариата или Политбюро ЦК КПСС и требовал, чтобы к основным вопросам повестки были подготовлены юридические справки, смысл которых сводился к одному: как решался данный вопрос при жизни В.И. Ленина, т. е. надо было подобрать нормативный материал первых лет деятельности советского правительства. Это позволяло Александру Николаевичу с важным видом проявить эрудицию на очередном заседании: мол, при жизни Ленина вопрос решался так-то и так-то.

Вот такая ретроспективная юриспруденция. Под Лениным себя чистила вся страна. Это был непререкаемый моральный авторитет, и апелляции к его «мнению» оказывались беспроигрышными — этого джокера не мог побить ни один туз. Знатоки ленинских цитат считались интеллектуалами: у помощника Суслова Воронова была целая картотека — цитатник из Ильича на все случаи жизни. Не было человека на свете, чьи слова весили бы так много. И так быстро не девальвировались по окончании эпохи исторического материализма.

Для Шелепина Ленин был инструментом в аппаратно-политической борьбе — хорошо настроенным и бьющим прямо в цель. Потом, в перестройку, Горбачев тоже будет искать в Ленине подлинный, девственно-чистый марксизм, который мог бы ему дать билет в будущее. Не сработает, хотя пару первых лет перестройки этот прием будет иметь значение и пользоваться успехом. Особенно хорошо работать на противопоставлении Ильича и Сталина.

Гораздо сложнее проходила подготовка к заседаниям самого Комитета. Были постоянные ссоры и дискуссии с руководителями отделов, готовивших проекты постановлений, которые мы зачастую отказывались визировать ввиду их юридической небрежности. Заведующие отделами, как и большинство членов Комитета, были по происхождению местными партийными работниками, с неприязнью относившимися к «крючкотворству» и закону вообще. Их девиз был: «Ну, подумаешь — закон! Если надо — напишем новый!» После Юридической комиссии мне было особенно трудно мириться с правовым нигилизмом, а скорее, цинизмом.

Помогали мне в спорах толковые помощники председателя Комитета — опытные работники ЦК КПСС. Шелепин было тогда един в трех лицах: председатель КПГК, секретарь ЦК и зампред Совмина, плюс к тому заворгпартотделом ЦК, то есть в его руках сосредоточилась необъятная власть — все кадры, в том числе административные органы. И вот такой человек щеголял на заседаниях ленинскими цитатами и «знанием» правовых актов ленинского периода. Причем это так въелось в его натуру, что он цитировал Ленина везде и всюду, например, при обычном разговоре с подчиненными, к удивлению сотрудников.

Однако вначале деятельность Комитета была очень бурной и боевой. Все председатели республиканских, краевых, областных комитетов контроля по должности являлись секретарями соответствующих партийных комитетов и заместителями председателей Совминов или крайоблсоветов, что давало возможность реально влиять на положение дел. Поворот к соблюдению юридических норм постепенно укреплял законность в стране, преодолевал правовой нигилизм, господствовавший ранее, так что кое-какой положительный результат был достигнут. Более того, вдруг обнаружился дефицит руководящих кадров. Стало трудно подбирать людей на должности директоров заводов, совхозов, председателей колхозов. Выдвиженцы отказывались от должностей из-за «свирепости» комитетов контроля. Местные партийные органы стали жаловаться в ЦК, что эти новые инстанции «мешают работать», не дают возможности

подобрать нужные кадры. Надвигалась гроза, и с 1 декабря 1966 года КПГК был преобразован в Комитет народного контроля СССР. Председатели комитетов на местах стали только членами бюро соответствующих партийных комитетов, что, конечно, успокоило партийные власти и лишило контролеров возможности реально влиять на устранение выявленных нарушений закона. Конечно, посты и народный контроль продолжали действовать, но уже больше путем разъяснений, увещеваний, без действительного оружия — привлечения виновных к материальной ответственности.

В это время я сделал еще одну попытку перейти в юстицию, вернее, в юридическую науку: подал заявление в Институт государства и права Академии наук в сектор уголовного процесса. Сложность была только в получении характеристики. Руководством Комитета было решительно отказано, поэтому я переписал какую-то старую характеристику, подал документы… и был принят по конкурсу в Институт.

Это была последняя попытка отца сбежать с административно-юридической работы. Ну, не в театр, конечно, но хотя бы в науку. Уже была получена квартира на Ленинском проспекте, родился второй сын, то есть я, умер его папа — Иван Иванович, что символическим образом завершало некоторый этап в биографии.

Интересно, что в Институте государства и права папа столкнулся бы со своим научным оппонентом Строговичем, который как раз в это время работал над фундаментальным авторским курсом советского уголовного процесса. Смиренно был бы принят в его «школу». Доезжал бы на метро от «Проспекта Вернадского» по прямой линии до «Библиотеки», шел бы пешком восемь минут до особняка Лепёшкиной, входил бы в старинную прихожую с этим приглушенным светом, поднимался по скрипучим ступеням в скромную комнату своего сектора, заходил бы — редко, с трепетом — в величественный кабинет директора, где время застыло в 1930-х годах. Выходил бы покурить, если бы не бросил, во внутренний дворик перед флигелем — кажется, там располагалась редакция журнала «Советское государство и право». Заглядывал бы туда посмотреть гранки длинной статьи, результата годового труда. Он любил писать просто и внятно и как-то похвастался, что его тексты понятны даже наборщикам… Готовился бы к защите докторской… Я же сам там был аспирантом и дышал этим запахом академии, только в секторе теории государства и права, где хотел защититься, да так и не стал. И наверное, отец мог проработать в Академии до пенсии, дружить с моим научным руководителем профессором

Владимиром Евгеньевичем Гулиевым, писать учебники и монографии, это была бы спокойная жизнь. Но…

Но… Опять это «но». Почти одновременно состоялось решение Секретариата ЦК КПСС об утверждении меня в должности инструктора Общего отдела ЦК. И 8 декабря 1966 года я, взволнованный и растерянный, пришел на беседу к заведующему отделом Константину Устиновичу Черненко. Он не стал слушать мой жалкий лепет о намерениях заняться научной работой: «Партия вам доверяет и оказывает большую честь работать в ее штабе». А заместитель Черненко Клавдий Михайлович Боголюбов сказал мне: «Учтите, вас привлекли к работе очень рано, вам всего 38 лет! Помните, что здесь работают профессиональные революционеры, а вас взяли сразу на инструкторскую должность. Многие у нас начинают с референта». Судьба моя была решена.

Вся цековская часть биографии отца прошла в Общем отделе, готовившем, в частности, заседания секретариата и Политбюро ЦК. Но чрезмерный вес этой структуры в системе внутриаппаратных сдержек и противовесов определялся не этим, а приближенностью его заведующего Черненко к Брежневу и, в свою очередь, замзава Боголюбова к Черненко. Леонид Ильич, как только закрепился в качестве первого лица партии, «бросил» в январе 1965-го Константина Устиновича с должности завсекретариатом Президиума Верховного Совета СССР на Общий отдел — то есть как был Черненко правой рукой Брежнева, так ею и остался. И в том же 1965-м к нему перевели Боголюбова.

У отца и с тем и с другим персонажем были отнюдь не блестящие отношения — он слишком много, часто и открыто высказывался по разным злободневным сюжетам. Боголюбова довольно быстро «снесли» после смерти Черненко и прихода Горбачева, тем более что и личная его репутация была не блестящая — «профессиональный революционер» был уличен в плагиате и даже в присвоении части гонораров за брежневские книги. Что характерно, подлинные их авторы, в том числе Анатолий Аграновский, не получили за свою работу ничего. Впрочем, это была типичная практика для советского спичрайтинга — он оставался бесплатным. Как выразился Александр Евгеньевич Бовин, один из соавторов Конституции 1977 года, за этот непосильный труд он получил «гран мерси дю парти»… Боголюбов же, по воспоминаниям редактора «Советской России» Михаила Ненашева, ухитрялся в Политиздате получать гонорары за издаваемые документы ЦК КПСС.

Черненко в 1978 году стал членом Политбюро, но руководство отделом оставил за собой — понимал, что останется

генералом без армии, даже если отдаст важнейшее аппаратное кресло своему человеку. Отдел несколько раз реорганизовывали, отец назначался то завсектором, то руководителем подотдела писем, а суть должностных обязанностей оставалась одна — работа с жалобами граждан.

В 1985-м отец со сдержанной радостью воспринял отставку Боголюбова. Тем более что завотделом стал его друг Анатолий Лукьянов: степень доверия к нему Горбачева, судя по всему, была не меньшей, чем Брежнева к Черненко.

Глава 5. В штабе партии

После первой беседы в ЦК я был глубоко взволнован и польщен, что мои скромные труды на профессиональном и общественном поприщах получили такую высокую оценку и мне было доверено принять участие в работе боевого штаба КПСС. Я горжусь, что до конца дней моих верно служил партии и был в первых рядах ее боевых колонн. Мой номер партбилета 00001511, то есть я во второй тысяче бойцов.

В общем, возразить было нечего, да и нельзя, и я оказался в священных для меня стенах Центрального комитета.

Этой цельности папы, наличию в его жизни прочного якоря — приверженности ортодоксальному коммунизму, — можно было только позавидовать. Так иногда завидуешь искренне верящим в Бога людям. Эта цельность устояла при столкновении с реальной жизнью, которую он знал — по бесконечным командировкам и «письмам трудящихся». И чем сильнее внешние обстоятельства подтачивали эту цельнометаллическую идеологическую конструкцию, тем ортодоксальнее становились взгляды отца, особенно в унизительные для него пенсионерско-инвалидные 1990-е годы, хотя я сделал всё, чтобы материальные затруднения ну совсем никак не коснулись родителей. Дело было не в этом. Его мир рухнул, тяжелейшая болезнь почти уничтожила организм, и это на фоне падения коммунизма. Я зачем-то еще спорил с ним по идеологическим «вопросам», отчаянно пытаясь сдерживать себя в бесполезных дискуссиях и умирая от жалости к обессиленному инсультами верному ленинцу.

Это было старое здание на улице Куйбышева, так называемый седьмой подъезд. Меня направили к заведующему подотделом писем Борису Павловичу Яковлеву, который объяснил, что создана новая служба по работе с письмами трудящихся и для этого совершенно необходим квалифицированный юрист, коим, по его мнению, я и являюсь. Дело в том, что Борис Павлович ранее работал главным контролером КПГК и частенько консультировался у меня.

В тот же день в ЦК я попал на совещание подотдела. Меня представили, смущаясь, я забился в угол и осмотрелся. Коллектив нашей структуры оказался в основном женским. Женщины средних лет, скромно одетые, без косметики, очень толково и критично, как мне показалось, подводили итоги работы за определенный отрезок времени, довольно резко, но в то же время доброжелательно критиковали друг друга, указывали на недоработки и пути их устранения. Я слушал, наматывал на ус,

пытаясь запомнить лица и имена, старался заранее определить «подводные камни» и линию поведения с каждым. После совещания меня определили в комнату на первом этаже, где сидел мешковатый пожилой инструктор Сергей Михайлович Тюренков: он объяснил, что нужно делать, какие требования, дал мне пачку писем, сказав, что надо приобщить к ним архив, за которым я направился в соответствующую группу и… сразу заблудился в длинных запутанных коридорах. С трудом нашел нужную комнату, где меня снабдили необходимыми материалами и сопроводили обратно. Приближался обеденный перерыв. Мне вручили разовый пропуск.

Я уже знал, что делать. Ведь однажды меня привлекали к работе в ЦК, когда я еще служил в Юридической комиссии. Тогда существовало Бюро ЦК по РСФСР, куда меня пригласили для консультации по новым законодательным актам. Я впервые попал в храм — штаб нашей боевой партии большевиков.

Характерно это восприятие ЦК как храма или как минимум намоленного места, где всё дышало властью и историей — скромной, ригористичной, умной, как прищур Ильича. Все-таки марксизм-ленинизм был светской религией. А внятная имперская бюрократическая иерархия позволяла не сомневаться в том, что вот он — пик карьеры. Самому ворваться в эти стены было нельзя — только невидимая сила могла привести человека туда, подарив ощущение абсолютного счастья.

В этом квартале, где гулко метался воздух от свистка регулировщика и проносившихся по улице Куйбышева от Кремля черных машин, отцу предстояло провести два десятка лет. Тогда еще действительно существовало Бюро ЦК КПСС по РСФСР, о котором пойдет речь ниже, — странное образование, возникшее в 1956 году, результат экспериментов Хрущева со структурой государственных органов. Причем возглавил это Бюро сам первый секретарь — Никита Сергеевич. В 1966-м, еще до того, как отца наняли в ЦК, при расчистке административного наследия Хрущева, Бюро упразднили, чтобы не путаться в нагромождении разнообразных органов.

Эпизод же первого посещения отцом ЦК относится к 1963 году.

С трепетом вошел я в первый подъезд зеленоватого здания у Ильинских ворот, предъявил свой партбилет, молодой военный нашел мою фамилию в списке, любезно предложил пройти на пятый этаж и назвал номер комнаты. Там меня ожидал помощник председателя Бюро ЦК по РСФСР, объяснил суть задания, усадил за большой стол, показал, по какому телефону надо обращаться к нему, вызвал стенографистку и ласково сказал: «Ну, начинайте».

Я остался в кабинете один. Осмотрелся. Обстановка скромная, строгая, потолки высокие. Окна выходили на Ильинский сквер. Под стеклом на столе список телефонов работников аппарата ЦК — и вот я теперь как бы приобщен к его деятельности. Около письменного стола на маленьком приставном столике стояли чистые стаканы и сифон с газированной водой. Первое, что я сделал, конечно, попил водички, стало легче дышать. Вошла стенографистка: «Я готова, диктуйте». Но я еще не был готов. Волнуясь и стесняясь красивой накрашенной блондинки, я стал быстро читать оставленный мне проект постановления: «Я сейчас, подождите немного». Что значит школа Юркомиссии — сразу же нашел ряд неточностей и нелепостей в тексте законодательного плана, но особенно меня удивили элементарные грамматические ошибки. «Ну, это, наверное, описки», — вздохнул я и продиктовал первые замечания. Стенографистка спокойно ставила какие-то крючки в блокноте и лукаво улыбалась. «Да вы не стесняйтесь, — подбодрила она меня, — я сразу же напечатаю текст, и тогда легче будет его исправить».

Через десять минут передо мной был идеально напечатанный текст, который из моего бессвязного бормотания превратился в нечто похожее на юридическое заключение по проекту постановления. Приободрившись таким началом, я смелее продолжил диктовку, дело пошло веселей. Через два часа у меня на столе уже лежало добросовестное исследование порученного мне проекта и несколько, как мне казалось, толковых предложений.

Появился помощник. «Ну, как — освоился?» — «Да вроде бы», — с сомнением покачал головой я. Он взял листочки: «Так-так, вполне достойно. Продолжай в том же духе. Да, кстати, не пора ли пообедать, время поджимает». И помощник протянул мне синий картонный квадратик — пропуск в столовую. И мы пошли через Черкасский переулок в бывший ресторан «Славянский базар», о котором я так много читал и знал как о месте рождения МХАТа. «Здесь у нас временно размещается столовая», — объяснил провожатый.

Мы встали в небольшую очередь, выбили чеки, поглядывая на меню. Цены были нормальные, как в заводской столовой. Прошли в большой старинный зал, заняли свободные места. Обед мне очень понравился, да и вся обстановка — спокойная, без толкотни и шума. Солидные, уставшие люди доброжелательно переговаривались, обсуждали какие-то дела, посмеивались. Я жадно впитывал эту новую для себя атмосферу цековского общения.

При входе в зал был книжный киоск. Газет я накупил много, а вот на книги денег не хватило. «Ну, до следующего раза, — подумал я, — если, конечно, он будет». Через полчаса мы уже были в знакомом кабинете, и я опять не удержался, попил водички из сифона. Пришла с обеда стенографистка, и уже уверенно продиктовал ей заключение по второму документу, в котором ставился вопрос об усилении борьбы со спекуляцией. Эта тема мне была знакома. К 5 часам вечера я доложил помощнику об окончании работы, вручил ему свои листки и с облегчением отправился к себе на работу.

Даже столовая — храм в храме, святая святых. Там газет и книг больше, чем в обычном киоске. Притом что постоянное здание столовой Центрального комитета потом, после окончания строительства новых помещений ЦК в 1964–1967 годах, появится на пересечении Никитникова и Ипатьевского переулков, рядом с церковью Троицы в Никитниках. Которую при строительстве не снесли, и в ходе строительных работ чего только не нашли, включая древние мостовые и клады. И атмосфера в новой столовой будет примерно такой же, как и в «Славянском базаре»…

Симптоматично, кстати, что отец входит в первый подъезд ЦК, а весь фокус в том, что первый — не главный. (К тому же он упоминает зеленоватое здание, а оно находится слева от основного — серого.) Главный — второй подъезд. И на пятом этаже именно второго подъезда — просторный, но проникнутый казенной аскезой кабинет первого, впоследствии — генерального секретаря. С занавесочками, как на госдачах, шкафчиками — тоже с беленькими занавесочками, столом для заседаний, похожим на бильярдный — с зеленым сукном. И окнами на Ильинский сквер. Проезжая или проходя мимо, можно было посмотреть на окна пятого этажа над фасадом: горит ли свет, трудится ли высший руководитель?

А в сцене с накрашенной стенографисткой — в отличие от ненакрашенных работниц общего отдела, облеченных маленькой, но властью, — есть напряжение почти эротической сцены. Молодой юрист, который и так оглушен скромным деловитым величием партийного храма, дополнительно подавлен обаянием уверенной в себе красотки, которая чувствует себя в здании ЦК как дома. И при этом она еще ультрапрофессиональна. Чем не гетера?

Поневоле нахлебаешься воды из партийного сифона. Такого же, как в фильме «Семнадцать мгновений весны». Номенклатуре любого сорта нужна вода. А работникам более высокого класса — чай с цековскими маковыми сушками. Но это уже будет потом…

А пока на дворе 1963-й — год Шпаликова и «Я шагаю по Москве…». Отец возится с партийно-правительственным сифоном, а в это же время по Москве под проливным дождем идет белокурая девушка, и в руке у нее туфли, а лицо она подставляет дождю…

Геннадий Шпаликов был *Luftmensch* — человек воздуха. Но с тяжким грузом внутри и с ощущением земного тяготения. Ранняя слава в 27 лет благодаря фильму «Я шагаю по Москве» и песне «Бывает всё на свете хорошо», про которую он сам сказал «Поет и тенор, и шпана, / А мне положены проценты», ничуть не способствовала карьерному продвижению. Больше того, на этом фильме, идеальном киноотиске оттепели, всё легкое веселье с обещанием неслыханно прекрасных перспектив и закончилось. И в стране, и в личной биографии — человеческой и творческой — Шпаликова. Всего через десять лет после триумфа 37-летнего сценариста, писателя и поэта найдут в номере Дома творчества в Переделкине — он повесился на ярком шарфе, днем раньше запомнившемся тем, кто посетил церемонию открытия надгробия Михаилу Ромму на Новодевичьем.

Шпаликов, символ поколения, заплутал в эпохе, которая исподволь, почти незаметно успела поменять кожу, причем еще задолго до настоящих заморозков в 1968-м. И, как говорил Бертольд Брехт о писателе Карле Краусе, «когда эпоха наложила на себя руки, он был этими руками».

Впрочем, шестидесятые для Шпаликова завершились как раз в 1968-м, когда он закончил вместе с Ларисой Шепитько сценарий фильма «Ты и я», который по странному недосмотру киноначальства все-таки вышел на экраны в 1971-м в ограниченном числе копий.

Разумеется, картина эта вовсе не антисоветская — в этих категориях вообще невозможно судить о Шпаликове, который был человеком *вне*советским. Она даже в некотором смысле социалистическая. Но только это не социалистический реализм, а социалистический сюрреализм.

До полного распада формы в сохранившихся отрывках последнего незавершенного романа («Без копеечки денег. Велики поэты. Так и быть. Не дожил») еще далеко, зато в фильме прокладывает себе русло поток сознания — причем сознания чужого, на поверку оказавшегося шпаликовским. Больного, раненого, совестливого, на грани вмешательства психиатра. Или нейрохирурга — эту профессию автор подарил двум своим героям.

Единственная режиссерская работа Шпаликова «Долгая и счастливая жизнь» прошла на грани социалистического

сюрреализма. Где на всю страну было сказано, что жизнь не бывает ни долгой, ни счастливой, а любовь вообще не может состояться. И не только герой актера Кирилла Лаврова «терял каждый раз гораздо больше, чем находил» (последние строки сценария), но и вся страна вместе с ним. Это уже просто финал всего, финал закрытый и глубоко пессимистический, в отличие от открытой и оптимистической концовки «Я шагаю…». Герои же «Ты и я», превратившиеся из горящих молодых ученых в успешных околосорокалетних людей эпохи застоя, в представителей класса, который в те же годы Александр Солженицын назовет «образованщиной», переживают то, что бывает уже после состоявшегося финала. И не могут найти себя ни в попытках новой любви, ни в «смене обстановки». Нет жизни после жизни…

Понятно, почему от сценариста после этого фильма просто шарахались. А сам он уже не вписывался ни в какие литературные и киношные каноны. Драматург Александр Володин как-то встретил Шпаликова в коридоре киностудии: «Он кричал — кричал! — „Не хочу быть рабом! Не могу, не могу быть рабом!“ (Далее нецензурно.) Он спивался. И вскоре повесился».

Уже не шагал, а бродил по Москве, читал газеты на стендах — от корки до корки, заходил на почту и писал на почтовых бланках стихи, в которых распад формы, в отличие от прозы, совсем не ощущался. Но тем они и страшнее — своей абсолютной, космической безысходностью — жестче, чем у кого-либо из современников, даже Александра Галича или Иосифа Бродского: «Ночью на заборе / „Правду“ я читал: / Сговор там, не сговор? / Не понял ни черта. / Ясно, убивают, / А я в стороне. / Хорошо, наверно, / Только на Луне». Это стихотворение Шпаликова начиналось со слов, пародировавших его собственные стихи из «Я шагаю…»: «Я иду по городу…»

Наверное, все-таки Шпаликов покончил даже не с одной, а с двумя эпохами сразу. Твердая решимость не изменять самому себе в кинопрозе завершилась расторжением договоров с киностудиями — это конец шестидесятых как эпохи. А эпоху застоя он похоронил заранее, авансом, заняв у смерти до первого гонорара, — в «Ты и я» и своим самоубийством («Ровесники друга выносят, / суровость на лицах храня. / А это — выносят, выносят! — / ребята выносят меня!»).

«Ты и я», скорее, мог снять Микеланджело Антониони — так глубоко в подкорку советскому человеку, как Шпаликов и Шепитько, еще никто в СССР не позволял себе залезать. Это было советское «Затмение» или «Красная пустыня»: да и шел «Ты и я», как и полузапретные картины классиков-итальянцев, всё больше в

«Кинотеатре повторного фильма» на углу нынешних Никитской и Никитского бульвара.

И это был фильм-несчастье в каком-то более широком толковании. Шпаликов описал в сценарии «лишних людей». А потом, совсем скоро, те, кто воплощал и создавал их кинообразы — исчезнут. Уйдет из жизни в 37 лет Геннадий Шпаликов, погибнет в 41 год Лариса Шепитько, скончается в 50 Юрий Визбор, выбросится в окно в 56 лет — причем пересмотрев перед последним шагом свою лучшую работу в кино, в «Ты и я», — Леонид Дьячков.

Читатель ждет уж рифмы «розы» — в том смысле, что Шпаликов не смог бы соответствовать нашей эпохе. Причем ни в каком плане: ни в политическом, ни в житейском, ни в профессиональном — ни одну бы заявку ни на какой фильм шпаликовского типа никакая студия сегодня не приняла бы, не говоря уже о субсидиях Фонда кино и Минкульта на «патриотический» кинематограф. Дух времени, *Zeitgeist*, иной — да и *Zeit* закончилось, а *Geist* умер. То время было щедрым на таланты, а не на то, что сейчас называется ледяным и хмурым словом «профессионалы». Талант и был профессионализмом. Сейчас «вакансии» совпадений таланта и профессионализма, как сказал бы Борис Пастернак, «опасны, если не пусты».

Всё это, наверное, правда. И все-таки речь не о сегодняшней эпохе, которую Шпаликов похоронил заранее, даже и не предугадав ее появление, потому что перед ним была глухая стена застоя, казавшаяся, как и любые стены, вечной. А о том моменте, который поймал человек воздуха в химическом составе баснословной эпохи, предмете нашей тайной зависти. И поймал только потому, что и сам был частью воздуха времени — до той поры, пока этот воздух не закончился. Такое ведь не повторить. Как это в сценарии «Я шагаю по Москве»? «А по самой середине улицы шла девушка. Она шла босиком, размахивая туфлями, подставляла лицо дождю».

Разве бывает так на свете хорошо?

На следующий день меня опять вызвали в ЦК, сообщили, что мои замечания приняты и будут учтены. Я был в восторге от такого удачного дебюта, поблагодарил за доверие, но на этом, к сожалению, моя миссия завершилась. Помощник сказал, что меня позовут, если будет нужно, но нужда во мне возникла только через три года. Однако это первое впечатление от доброжелательной, чистой атмосферы в стенах ЦК осталось во мне на всю жизнь. Идя к себе, я думал: «Вот если бы посчастливилось мне работать в этом доме, как его называли — „Большом доме“, — и больше ничего мне не надо». Но оказалось,

что много еще мне было «надо» — набраться опыта партийной и государственной работы, углубить профессиональные знания, потрудиться в новой для меня отрасли — народном контроле…

В подотделе писем работали в основном референты, занимавшиеся первичной обработкой поступавшей корреспонденции. Плоды их деятельности поступали на следующую ступеньку — в группу инструкторов, где я и оказался. Инструкторы контролировали работу референтов с письмами и дальнейшее их рассмотрение в отделах ЦК, которые распределялись по кураторам, то есть между нами, семью инструкторами.

Мне поручили работу с корреспонденцией в самом «боевом» отделе — административных органов, куда поступала основная часть писем, адресованных ЦК КПСС. Несмотря на огромную загруженность, мне было легко работать с коллегами-юристами, каких-либо недоразумений, как и у других наших инструкторов с отраслевыми отделами, не возникало.

Меня представили заведующему отделом административных органов генералу Николаю Ивановичу Савинкину и его заместителям по армии и юстиции, и дело пошло на лад. Они понимали меня, я их, работники отдела считались с моим мнением, а я видел себя своего рода представителем отдела административных органов в канцелярских дебрях аппарата, обслуживавшего Политбюро и Секретариат ЦК.

Общий отдел был наиболее приближенным к руководству ЦК. Его заведующего К.У. Черненко, ближайшего помощника и друга Л.И. Брежнева еще по Молдавии, уважали и побаивались не только заведующие другими отделами, но и секретари ЦК. Ведь главным было, как именно он доложит Генеральному — без Черненко ни одна бумага не могла попасть к Брежневу. Это мне объяснили через несколько дней моей работы с некоторой гордостью за весомость нашего отдела, именовавшегося в сталинские времена Особым сектором. Старые работники рассказывали, что раньше особый отдел был на особом положении. Им руководил знаменитый помощник Сталина Поскребышев. Наверное, с тех пор сохранилась мрачная аппаратная поговорка: «Вот вы говорите — „войдите с предложением“. Войти-то, конечно, можно. Но вот как бы потом выйти?»

Вообще это был особый мир, с особыми традициями, и молодому сотруднику было очень непросто освоиться в этой обстановке. Все были старше меня и по возрасту, и по партийному стажу — с 1939-го, 1942-го и других военных лет, увешанные орденами. И тут я, со своим пока комсомольским

стажем, не имеющий никакой «мохнатой руки» — странное явление в этом аппарате. Плюс к тому сохранившиеся кое-какие идеалы и иллюзии, да еще комсомольский задор. Вылезал с критикой, особенно на первых партсобраниях, но потом пообтесался, попривык и многое понял. С уважением относясь к традициям аппарата, я всё же считал, что нужно учитывать и новые тенденции в развитии партии и жизни общества.

Традиции отдела и впрямь были богатые. Чего стоила судьба одного только Поскребышева, над которым Сталин издевался — вспомнить хотя бы классическую фразу при аресте супруги помощника диктатора: «Мы найдем тебе новую жену». До воцарения Брежнева Общий отдел возглавлял Владимир Малин, с которым связана весьма специфическая история. В 1952 году он и помощник Хрущева Григорий Шуйский подготовили речь для Никиты Сергеевича о новом уставе партии. Сталин ознакомился с «болванкой» выступления и спросил: «А зачем такой большой доклад, если уже есть проект устава?» Тогда авторы очистили устав от параграфов, поставили в начале текста обращение «Товарищи!», и Хрущев успешно зачитал доклад на съезде.

Малина, вероятно, считали человеком Хрущева и потому в 1965-м отправили руководить Академией общественных наук, а на его место Брежнев естественным образом пригласил Черненко — ведь тот заведовал его секретариатом на прежней работе, в Президиуме Верховного Совета СССР. Собственно, Общий отдел, вероятно, и воспринимался как секретариат. И лишь постепенно превратился в структуру, к которой стягивались все нити власти в Советском Союзе. После того как в декабре 1974 года Брежнев совсем уж всерьез заболел, Черненко стал еще более могущественной фигурой — раз аппарат решал всё, самым мощным игроком становился тот, кто его контролировал. Формально это могущество было закреплено в 1976-м, когда «КУ», Константин Устинович, получил ранг секретаря ЦК, а затем за два года «прошел путь» от кандидата в члены Политбюро до полновесного члена Политбюро и формально-неформальной правящей «шестерки» — Брежнев, Андропов, Суслов, Устинов, Громыко, Черненко.

…Всё это было бесконечно далеко от меня. Мы жили в угловом доме на пересечении Ленинского проспекта и улицы Кравченко — там, где, по сути, заканчивалась «старая» кирпичная застройка. И это был конец 1960-х, чего только не происходило в мире и в стране. Родители, судя по всему, жили обычной конформистской частной жизнью. Дух времени, скорее, сосредоточивался в нашей с братом комнате. И вот почему… Странным образом ощущение раннего детства из конца 1960-х

мне вернула новость о Нобелевской премии Боба Дилана. Когда он ее получил, я полез в *YouTube* восстановить в памяти его песни и еще раз попытаться понять причины невероятной страсти к нему знакомых интеллигентных американцев моего возраста. Серфингуя по песням 1960-х, я наткнулся на некогда знаменитую *Where have all the flowers gone?* Ее сочинил и пел Пит Сигер, левый американский антивоенный певец и активист. И тут же вспомнил пластинку, которую постоянно крутил на проигрывателе мой брат — он тогда заканчивал школу, а я еще ходил в детский сад. Кроме *Where have all the flowers gone* там были и *Guantanamera*, и *We shall overcome* — набор искреннего пацифистского левачества, в меру одобряемого забронзовевшим советским социализмом. Его лозунгом было внутренне противоречивое высказывание «Мир победит войну» — что, вероятно, должно было случиться после многочисленных военных операций и жертв.

Возможно, СССР и хотел мира, но только после победы над США.

Не имея военной мощи Советского Союза и обладая меньшим числом зависимых и сочувствующих народов и стран, Россия имитирует советскую модель поведения. «Эффект колеи», то есть воспроизводства в политике былых исторических моделей, действует безотказно, на уровне рефлекса.

Но как советским идеологам войны и мира, так и нынешним российским, чтобы выглядеть подлинными сторонниками мира, не хватало как раз этого простого и неоспоримого пафоса западной песенной традиции 1960-х. Именно западной, ведь ту же самую *Where have all the flowers gone?* пел не только Сигер и другие американские певцы вроде подруги Боба Дилана Джоаны Баэз или трио *Piter, Paul and Mary* но и, например, Марлен Дитрих. В этой песне есть несколько вопросов с простыми ответами, например: «*Where have all the soldiers gone? Gone to the graveyard everyone.* — Куда девались все эти солдаты? Они все как один — на кладбище».

Но главный вопрос: «*Oh, when they will ever learn?* — Когда они, наконец, извлекут из этого уроки?» — так и остается без ответа.

…И эта пластинка всё крутится на проигрывателе брата. Я вижу его профиль на фоне настольной лампы. Возможно, он рисует — как всегда, каких-нибудь революционеров-марксистов. По майскому Парижу в это время праздно шатаются бертолуччиевские «мечтатели» — пафос их антибуржуазного протеста обесценивается тем, что без обналичивания папиного буржуазного чека они не могут существовать. Каждому свое в этом знаковом 1968-м: им в Париже — романтизированный

«коктейль Молотова», нам — долгосрочные последствия пакта Молотова-Риббентропа.

В окне нашей с братом комнаты — сумерки цвета *blue navy*. Сумерки полувековой давности.

Партком аппарата много делал для воспитания вновь пришедших работников. Был даже создан специальный семинар молодых коммунистов. Поучиться было у кого, в аппарате трудились и кандидаты, и доктора наук, и даже академики, они, как правило, охотно включались в работу сети политпросвещения. Мне сразу довелось стать руководителем сначала кружка текущей политики для технических работников, а затем и семинара для референтов.

Среди них было много людей с производства. Порядок зачисления их в штат был таков: партийный стаж и две рекомендации старых коммунистов с места работы. Случайных людей практически не было. Это создавало особую атмосферу — полное доверие, товарищеская взаимопомощь и взаимная требовательность.

В целом отлаженный четкий механизм строился на почти воинской дисциплине, которую я познал еще в комсомольских органах и райкоме партии. Таких слов, как «не могу, не умею, не потяну, у меня личные причины» — не существовало, мог быть только встречный вопрос исполнителя: «Когда?» и подтверждение: «Постараюсь». И действительно старались изо всех сил, не считаясь со временем и состоянием здоровья. Девиз один: сказано — сделано. И точка.

Конечно, мы, рядовые коммунисты, давно чувствовали на себе зловещие признаки вождизма, бонапартизма в партии, но дальше частных разговоров шепотом дело не шло. Понимали, но молчали. Честные партработники, трудившиеся всю жизнь на износ, не смогли спасти партию от предательства руководящего меньшинства, которое, начиная со Сталина, создало свою партию — аппаратную.

Как-то на Куршской косе, той ее стороне, которая обращена не к заливу, а к Балтийскому морю, папа ответил на настойчивый и часто повторявшийся вопрос одного из двух своих близких друзей, чья фамилия заканчивалась на «-сон»: «Володя, ну почему всё так происходит в стране?» — «Партийная мафия», — шепотом, да еще под шум волн, ответил отец. Этот ответ — очень общего плана, да и вряд ли папа мог подробно объяснить с позиций «теории», что происходит с перерождающимся политическим классом, притом что, в противоречии с собственными выводами, он по-человечески хорошо относился к высшим руководителям ЦК. Отец, романтический выходец из районного партийного

звена, считал, что партию испортили карьеристы без взглядов, а для ортодоксального идеологизированного коммуниста карьера на цинизме, а не на основе идеологии, была совершенно неприемлема.

Кстати, этот ответ отца, несмотря на чрезвычайно высокий уровень абстракции, совершенно потряс друга нашей семьи. Он мне потом и рассказал эту историю. Вероятно, услышать такие слова от работника ЦК, да еще во второй половине глухих 1970-х — событие неординарное.

* * *

В своих многочисленных командировках по стране я видел образцы самоотверженного труда местных партийных работников в их «районных буднях». Особенно я преклонялся перед героизмом секретарей сельских райкомов, благодаря которым и выживала страна. Главной бумагой на столе сельского секретаря всегда была сводка надоев молока и уборки хлебов. Иные картины наблюдались в кулуарах высших инстанций — чем выше, тем хуже. Уже областное звено имело своих «наполеончиков», республиканское — тем более, а дальше — уже небожители, давно забывшие о людях труда.

Рассказы старых работников аппарата, особенно нашего, бывшего Особого отдела, обслуживавшего непосредственно «вождя народов», потрясали. Порядки, насаждавшиеся вождем и его ближайшим окружением во главе с Поскребышевым, расползлись по партийному аппарату как метастазы гнусной болезни. Подобострастие, лизоблюдство, полная беспринципность, угадывание мыслей и желаний «хозяина», искажение реальных данных в угоду настроению начальства, подсиживание, клевета на честных сотрудников — все эти сталинские традиции были на вооружении у целых поколений ответственных работников.

Мои непосредственность и неподготовленность к дворцовому этикету быстро отразились на служебном положении. При каких-либо передвижках по службе мою кандидатуру неизменно «задвигали», хотя и по опыту низовой работы, и по образованию (кандидат наук все-таки) я превосходил многих продвигаемых аппаратчиков. Открыто высказывалось и неудовольствие сверху. Я был секретарем первичной партийной организации нашего отдела и как-то на конференции аппарата позволил себе в выступлении несколько критических замечаний в адрес коллег из других отделов, как мне казалось, в очень корректной и мягкой

форме. Когда я вернулся с собрания, меня уже поджидал наш завотделом, красный как рак от разноса, который ему устроил по телефону секретарь ЦК Черненко: «Что это твой Колесников всё выпендривается? Что ему надо? Он что, хочет поссорить меня с отделами?» Черненко не было на собрании, значит, он получил донос.

К этому моему «отрицательному имиджу» добавлялись и результаты других мелких стычек, когда на совещаниях я смел высказывать свое мнение и, что особенно возмутительно, свое несогласие с мнением секретаря ЦК. У Черненко был излюбленный вопрос, чтобы прервать выступающего: «Откуда ты это взял?» — «Константин Устинович, — отвечал я, — из опыта местной парторганизации — я только вчера вернулся из командировки в Волгоградскую область». — «Ну, без решения Секретариата это еще не положительный опыт. Не выскакивай!» — отрезал он.

И еще одну оплошность он не простил мне. По простоте душевной я попросился на работу в отдел адморганов, считая, что как юрист принесу там больше пользы. Мою просьбу поддержал и генерал Савинкин. Черненко вспылил и устроил разнос Савинкину: «Это не метод подбора кадров, нашел топор под лавкой!» — и выгнал генерала из кабинета… Ирония судьбы: впоследствии именно мне партком поручил произнести траурную речь на похоронах предпоследнего генсека.

Отец, получается, ходил в бузотерах. А мама и вовсе была всегда обуреваема чувством справедливости, точнее, ощущением нарушенной справедливости. Это не означает, что она была «леваком». Просто характер у нее был вспыльчивый, и кроме того, она была членом семьи врага народа. Я стараюсь подавлять материнские гены, но иногда они взрывают ситуацию — и тогда вдруг неведомая сила несет меня, я швыряю заявление об уходе или говорю «всю правду в глаза». Впрочем, всё реже и реже. Чаще просто устало покидаю поле битвы. Молча.

Папа и впрямь проводил долгие недели в командировках, оставив пять блокнотов с путевыми заметками — кожаные обложки записных книжек впитали его запах. Он называл их «От Москвы до Бреста нет такого места». Первая книжка начата им сорокалетним, 15 октября 1968 года, в самолете, летящем в Иркутск. А до этого, как он сам записал, были Нежин, Чернигов, Киев, Ташкент, Горький, Куйбышев, Тольятти, Кемерово, Мариинск, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецк, Прокопьевск. Последние записи в последнем блокноте — от октября 1987 года, нежно любимый им Таллин, отцу тогда было уже почти 60. Он объездил полстраны («доложился первому секретарю») и в самом

деле с уважением относился к пахарям — низовым работникам этой безбрежной партии («надо бы памятник поставить секретарям райкомов — основной ячейке нашего строя»), которая была равна государству и неведомым образом удерживала имперскую материю от распада. Пил воду из Байкала и Севана. Мучился бессонницей в душных вагонах и гостиницах. Нетерпимо отзывался о показушном гостеприимстве. С теплотой и нежностью относился к своим друзьям в Прибалтике. Жаловался на давление, рассказывал дневнику о своем нежелании париться в бане и пить с местными начальниками. Работал над слогом — словно набрасывал черновик к ненаписанной повести. Для кого он это писал? А для кого пишет тот, кто пишет вообще что-либо? Для себя и идеального читателя, не всегда существующего.

Я остался единственным читателем этих пяти коричневых кожаных блокнотов. Спорю с ним, досадую. Иногда восхищаюсь. Это наш разговор с глазу на глаз — *postmortem*.

Иногда мне кажется, что эти записные книжки не могли сохранить его запах, я всё сам себе придумал, это просто аромат старой кожи, сложносоставной, как послевкусие испанского бренди на хересе. Кстати, об испанском. Герой романа «Ночь времен» Антонио Муньоса Молины, которого у нас мало переводят, знал, что фото, на которые подолгу смотрят вдали от оригинала и не имея возможности его видеть, теряют свой «зов», свою живость — «лица утрачивают свою единственность, как белье любовницы, сохраненное любовником, теряет свой столь желанный запах». Но здесь другой случай: страницы записных книжек — не лифчик и не маечка. Для них как будто нет времени, расправляющегося с телесными запахами, словно зарытыми в ткани. Что же до фотографий — да, они могут стать со временем невидимой хозяину частью интерьера, если долго висят на стене и превращаются в своего рода никем не замечаемый декор. Но и они, если освежать впечатления от них, способны оживать…

Отец всегда казался мне очень взрослым. Сейчас я понимаю, что формулировать надо иначе: папа выглядел старше своих лет. А я выгляжу младше, ощущая себя мальчишкой, особенно на его фоне и в декорациях отцовской жизни — такой серьезной и правильной. И еще я всегда чувствовал себя защищенным им — не в логике непотизма, а в буквальном смысле — «за спиной». Мы часто ходили с ним на лыжах — этот вечный бег в Филевском парке и Крылатском или потом, в 1980-х, в пойме Истры. И передо мной маячит спина отца. Я так и остался мальчиком, рысью плетущимся за папой. Отсюда и моя кардиограмма, которая однажды поставила в тупик опытного врача. «У вас, — сказал он, — кардиограмма стайера».

Будучи самым взрослым, отец отвечал за всех — за клан в широком смысле слова. Тетя Геня, измочаленная онкологией и решившаяся на самоубийство в 1979 году, в предсмертной записке написала: «Тебе, Володя, придется тяжелее всего». В том смысле, что ее *такая* смерть — это и моральная, и «техническая» нагрузка для него — главного мужчины в клане. Удостоверение на бабушкину — для него тещину — нишу на Ваганькове тоже было записано на папу.

Еще за несколько лет до своей смерти Генриетта Герасимовна писала бесконечные стихи о бессоннице и невыносимо тяжелых мыслях о погибших детях. А так-то она была душой разнообразных компаний одноклассников, одногруппников, одноработников и сочиняла для них поздравительные стишки. На свой лад она ждала или даже звала смерть, о чем написала полушутливое стихотворение: лирическая героиня пишет заявление Богу, просить пустить ее в ад, мест там не находится, она просится в рай, на что Господь ей отвечает: «В рай захотела? Интересно! / Землянам всем давно известно, / Что с той поры, как Сталин правил / Он населенья поубавил, / С тех пор от края и до края / Забиты все жилища рая! / Ну, что ж мне делать? Как мне быть? / Пока придется, видно, жить». Жить ей оставалось четыре с половиной года. В завещании была строка — уничтожить ее переписку с близким человеком, чьи книги — русская классика, альбомы по искусству, подаренные Генриетте, с дарственными надписями «Моей Генюрке» — лежат теперь на моих полках. Судя по скрупулезно отмеченным датам, он появился в ее жизни, когда ей было далеко за сорок. Но она так никогда и не вышла замуж. И продолжала носить чрезмерно выразительную для нашей страны девичью фамилию Кац-Каган, хотя могла бы остаться — по погибшему мужу — Пыжовой.

…Мне приснилась тетя Геня — такой, какой я ее запомнил в последние годы жизни, во второй половине 1970-х. Я, в сегодняшнем своем облике, 50-летний, беседовал с ней и рассказывал, хвастаясь и почти заискивая, что повесил ее портреты на стену в своей квартире (что правда): «Одна фотография — молодая красотка, другая — маленькая девочка».

Возможно, это было продолжением нашего с ней разговора года 1978-го — мне было лет 12–13. Ее доканывал рак, она сидела у нас на кухне. Подняла на меня глаза и спросила: «Что, страшно на меня смотреть?» Я ответил, что не страшно. При этом совершенно не врал. Она всегда оставалась изящной, изысканной, остроумной, красивой, любимой. И если бы не чудовищная жизнь, с войной, репрессиями и смертями самых дорогих людей в социальном и физиологическом анамнезе, она могла бы еще

превратиться в новые времена в интеллигентную старуху, на целый день прикованную к прослушиванию «Эха Москвы».

В силу специфики моей работы, сначала в Общем отделе, а с 1973 года в выделившемся из него Отделе писем, приходилось общаться не только с работниками аппарата, с которыми устанавливались самые тесные дружеские отношения, но и с генеральными секретарями Брежневым и Черненко, другими секретарями ЦК, особенно при докладах писем, адресованных им лично.

Леонид Ильич производил впечатление очень добродушного и мягкого человека, расположенного к собеседнику, любящего пошутить. Интеллигентными людьми, по-товарищески относившимися к сотрудникам ЦК, остались в моей памяти Ф.Д. Кулаков и, конечно, Ю.В. Андропов. Ни малейшей тени какого-либо величия или барства не было в разговорах с ними, лишь доброе понимание и равенство. Молчалив и строго официален был М.А. Суслов, вальяжен и сух — А.П. Кириленко, откровенен и прост — М.В. Зимянин. Так что партийный олимп населяли отнюдь не какие-то монстры, а вполне нормальные люди, прошедшие большую и трудную школу жизни, работавшие по 16–17 часов в сутки. Уходя домой в 8–9 часов вечера, я нередко чувствовал себя отступником, искателем легкой жизни, глядя на залитые светом окна 5-го этажа, где располагались кабинеты секретарей. Старшие товарищи еще работают, а я уже домой — мучился угрызениями совести. Но ничего, завтра пораньше приду. И действительно, большинство сотрудников приходили к 8 утра, причем без каких-то специальных указаний и напоминаний. Это было обычным правилом цековской жизни — пораньше прийти и попозже уйти.

На пятом этаже здания ЦК, боюсь, от Брежнева оставались к вечеру только свет в кабинете и дежурный помощник. Не говоря уже о том, что существенную часть рабочего времени он предпочитал проводить в Завидове… В отце явно боролись два чувства — лояльность к партии и его руководству и неприятие индивидуальных особенностей многих начальников. Плюс — негибкость самой системы. Причем в мемуарах других свидетелей этого времени, например, Зимянин не «откровенен и прост», а простоват и грубоват. Об Андропове тоже остались сильно разные свидетельства, но Юрий Владимирович времен работы в ЦК, до ухода в КГБ, действительно страшно нравился аппаратной интеллигенции. Он с нею общался, советовался, обменивался стихами, устраивал мозговые штурмы без пиджаков. Но жестко пресекал попытки лезть в собственно процесс принятия политических решений. «Не высовывайся!» — ответил он

Александру Бовину, когда тот написал бумагу по поводу возможных минусов вторжения СССР в Чехословакию в 1968 году.

«Вальяжен и сух» Кириленко. В воспоминаниях Михаила Горбачева тоже есть фрагмент, где он отмечает, что стиль общения этого секретаря ЦК будущему генсеку не нравился.

Не то — Федор Давыдович Кулаков, о котором отец так высоко отзывался. Он умер 17 июля 1978 года, и странным образом мне, 12-летнему, запомнился этот день. Мы отдыхали на Куршской косе, в Ниде, и с балкона нашего номера я наблюдал на море настоящий смерч. Папа как-то очень внимательно отнесся к сообщению о кончине секретаря ЦК по сельскому хозяйству — внезапной, в 60 лет. Вероятно, отец знал о слухах, согласно которым Кулаков мог стать преемником Брежнева. Или — председателем Совмина.

Сам же Кулаков, с 1960 года работавший в Ставрополье, сочувственно следил за карьерой Горбачева, и после его смерти именно будущий инициатор перестройки занял пост скончавшегося секретаря ЦК по сельскому хозяйству. Кулаков был одним из покровителей вертикального карьерного продвижения Михаила Сергеевича. Горбачев работал заведующим орготделом сельского крайкома партии в те годы, когда Кулаков возглавлял Ставропольский краевой комитет. Однажды в отсутствие Горбачева Федор Давыдович пытался пригласить Раису Максимовну на свидание. Вероятно, первый секретарь — царь и бог в крае — чувствовал себя вправе делать и такие предложения женам своих подчиненных. И тем не менее Горби остался благодарен ему: «Стиль его был и требовательным, и в то же время доброжелательным. По характеру он был человеком, способным откликаться на хорошее…»

…Впрочем, воспоминание о Кулакове — лишь случайный эпизод, произошедший в Ниде. Это место вмещало в себя кое-что другое — важнейшую часть детства. Наведя резкость, я и сейчас могу увидеть нас с отцом, причем он в моем нынешнем возрасте, около пятидесяти, блуждающими по дюнам Куршской косы. Я вижу карликовые сосны, ногой, утопающей в песке, ощущаю покалывание мягких иголок. И ступаю на деревянный настил, ведущий к морю и состоящий из сероватых кривых планок, выгоревших на солнце и подпорченных дождем.

А еще я вижу родителей и их друзей, сидящих на террасе домика Томаса Манна, превращенного в библиотеку, и читающих на балтийском ветру кто «Новый мир», а кто — в тщетной попытке добраться до конца — тетралогию «Иосиф и его братья», такие же голубые, как и журнал, толстенные тома издания 1968 года.

Манна, разумеется, я прочитал много позже, но уже с тех пор, со времен Куршской косы, он занял специальное место в моем сознании. Как и его дом с коньками на камышовой крыше, где от работы над «Иосифом и его братьями» нобелевского лауреата отвлекали выкрики, доносившиеся с литовско-германской границы — из военно-спортивного нацистского лагеря. По идиллическим движущимся дюнам бродили нацисты в плавках со свастикой на видном месте. Они портили ошеломляющий вид с террасы сквозь сосны на Куршский залив. Когда Манн был вынужден эмигрировать, и больше не приезжал летом на косу, Геринг превратил летнюю дачу писателя в охотничий домик. Советская власть, надо отдать ей должное, обошлась с Манном и его домом куда более достойно. И позволила издать среди прочего его письма, ставшие моим едва ли не самым любимым чтением, многое объясняющим в том числе и в сегодняшней России.

Это фантастическое чтение, потому что в этих письмах публицистичность, досада и горечь, спровоцированные тяжестью изгнания его, «хорошего немца», из Германии, сочетаются с поразительной прозорливостью и философскими выводами даже из текущей новостной повестки.

Он не верит ни в какие закаты Европы, в нацистском антисемитизме видит более глубокую катастрофу — отказ от «христианско-античных основ европейской цивилизации», «разрыв между страной Гёте и остальным миром».

В год гитлеровской Олимпиады Манн пытается понять, что значит это заигрывание диктатора с миром, и пишет Герману Гессе: «…Либо ‹…› будет война, либо через несколько лет в Германии сложится обстановка, которая позволит снова распространять мои книги». Однако: «Ничего хорошего из национал-социализма не выйдет. Но моя совесть была бы нечиста перед временем, если бы я этого не предсказал».

Манн умел отделять народ от режима: «Нельзя быть немцем, будучи националистом»; «Не надо же забывать, что большая часть немецкого народа живет в вынужденно немой и мучительной оппозиции к национал-социалистическому режиму и что ужасные преступления… отнюдь нельзя считать делом рук народа, как ни старается их выдать за таковое режим». Это он писал одной своей корреспондентке в 1938 году, призывая не отказываться от изучения немецкого языка.

Но ближе к окончанию войны его отношение к своему народу становится более сложным и, по сути, отчаянным. В «Докторе Фаустусе» звучат эти ноты почти яростного разочарования: а была ли «поступком» позиция — просто остаться в стороне от того, что

происходило в Германии? А не была ли нацистская власть худшим, но по-своему логичным воплощением национального духа? И не являются ли бюргеры, отчужденные от происходивших в стране событий, «хотя ветер доносил до них зловоние горелого человеческого мяса», «соответчиками за совершенные злодеяния»?

Это — тема ответственности. Человек не может стоять в стороне от зла. Человек не может не нести ответственности за собственную деградацию. Возмездие и катастрофа — заслуженны.

Споры в Давосе в «Волшебной горе» меркнут перед ужасами Первой мировой, перед тяжелым снарядом, «продуктом одичавшей науки», разрывающимся в тридцати метрах от Ганса Касторпа. И роман в 1924 году Манн завершает вопросом: «А из этого всемирного пира смерти, из грозного пожарища войны, родится ли из них когда-нибудь любовь?» В 1947-м, заканчивая «Доктора Фаустуса», Манн переносит действие во Вторую мировую и снова завершает свой шедевр не рассудочным выводом, а, во-первых, вопросом о том, скоро ли Германия, заключившая сделку с чёртом, «теснимая демонами», достигнет дна, и, во-вторых, молитвой за несчастную отчизну.

Из немецкого писателя Манн превратился в европейского, а затем, благодаря своей эволюции и войне, — в общечеловеческого. В сентябре 1945-го Томас Манн пишет письмо Вальтеру фон Моло, писателю, призывавшему его вернуться в Германию. Это письмо о всё той же ответственности, на этот раз — интеллектуальной элиты: «Если бы немецкая интеллигенция, если бы все люди с именами и мировыми именами — врачи, музыканты, педагоги, писатели, художники — единодушно выступили против этого позора, если бы они объявили всеобщую забастовку, многое произошло бы не так, как произошло… Непозволительно, невозможно было заниматься „культурой“ в Германии, покуда кругом творилось то, о чем мы знаем. Это означало прикрашивать деградацию, украшать преступление… Какая нужна была тупость, чтобы, слушая „Фиделио“ (Бетховена. — *А. К.*) в Германии Гиммлера, не закрыть лицо руками и не броситься вон из зала!»

А что потом, после войны, после катастрофы национализма и разделения ответственности с режимом? Манн сомневается в своей способности предсказывать что-либо, скорее рассуждает и надеется. А одну из мыслей повторяет два раза — однажды в письме и еще раз в «Фаустусе». Герой романа Адриан Леверкюн говорит, что «противоположностью буржуазной культуры, ее сменой является не варварство, а коллектив». В письме французскому германисту Пьер-Полю Сагаву писатель говорит о

том, что склонен, будучи «сыном буржуазного индивидуализма», «путать буржуазную культуру с культурой», но «противоположность „культуры“ в нашем понимании не варварство, а содружество».

Соломон Апт, словами которого Манн говорит с читателем по-русски, писал, что перевел *Gemeinschaft* как «содружество», хотя, по его предположению, писатель просто постеснялся употребить слово «социализм». В современной социальной теории, впрочем, *Gemeinschaft*, общину, противопоставляют *Gessellschaft*, обществу. Но, кажется, Томас Манн имел в виду вообще другое — превращение культуры из элитарной в массовую. Чуть ниже в том же письме он заметил: «Освобождено будет искусство от пребывания наедине с образованной элитой». И это стало настоящим пророчеством.

В 1945 году Манн предсказал и другой процесс — глобализацию, имея в виду, что спасение Германии — во включении в общемировую историю, когда «национальная обособленность сойдет на нет»: «Мировая экономическая система, уменьшение роли политических границ, известная деполитизация жизни государств вообще, пробуждение в человечестве сознания своего практического единства, первые проблески идеи всемирного государства — может ли весь этот далеко выходящий за рамки буржуазной демократии социальный гуманизм, за который идет великая борьба, быть чужд и ненавистен немецкой душе?» Примерно такие же слова можно было произнести о русской душе, когда завершалась перестройка, а Фрэнсис Фукуяма толковал в 1989-м о «конце истории».

Можно назвать Томаса Манна утопистом, но он выражал настроения тех лет, когда ровно на этом воодушевлении и на этих принципах и обустраивался послевоенный мир. Не его вина, что тренд был сломан дважды — сначала «холодной войной», а потом — после начала эпохи «постконца истории» — событиями 9/11, ИГИЛом, Донбассом и прочими «радостями» постпостмодернистского мира.

И, собственно, так же, как и Манн, думали основатели послевоенного мира, для которых солидарность народов Европы, свободная торговля и совместное производство товаров были гарантией от новых войн. Чего они терпеть не могли, так это фетишей национальных суверенитетов. Архитектор единой Европы Жан Монне считал, что главной послевоенной опасностью для континента стало бы «восстановление Европы, состоящей из суверенных государств, подверженных соблазнам протекционизма». «Если страны Европы займут позицию изоляции и конфронтации, — добавлял он, — снова станет

необходимым создание армий… Социальные реформы будут остановлены или замедлены военными расходами. Европа снова начнет жить в состоянии страха». Католический философ Жак Маритен, один из авторов Всеобщей декларации прав человека 1948 года, писал, имея в виду опыт некоторых режимов середины XX века: «Два понятия — „суверенитет“ и „абсолютизм“ — выкованы вместе, на одной наковальне». Из чрезмерного акцента на священном значении границ и суверенитета вырос железный занавес. На том же — абсолютизации суверенитета, на который, кстати, никто не покушается, — строится современная доминирующая российская идеология.

А во времена отца словом «суверенитет» злоупотребляли, зато предполагалось, что у имперских провинций суверенитет ограниченный. Думаю, папе это казалось безусловно справедливым, потому что справедливым был строй. А в имперские провинции и в их народы он влюблялся, как влюбился в Эстонию и Литву. Северо-Запад страны в его терминах.

Тем не менее весьма трудно было отвечать на вопросы малолетнего сына: «Папа, ну что ты делаешь на работе?» Ребенку требуется реально-материальное объяснение: «Пишу бумажки. Очень много. Разговариваю по телефону, езжу в другие города». — «А-а-а… Ну, всё же, что ты там делаешь?» — настаивал он. Как объяснить? Мы всегда были в курсе событий в стране, в мельчайших подробностях знали, чем и как живут подопечные партийные организации. Я, например, всегда знал, как в «моих» республиках и областях (это Северо-Запад страны) идет уборка урожая, каковы невзгоды, чем необходимо помочь через Минсельхоз, Минфин, Госплан, Совмин. А главное — по письмам и обращениям граждан принимались конкретные решения, шла реальная помощь людям.

Я никогда не звонил отцу на работу в ЦК. Быть может, только раз или два. Почему-то это не было принято или просто в голову не приходило. И никогда не бывал у него на работе. Не знаю даже, был ли у него там, в ЦК, отдельный кабинет. Он проработал на Старой площади 20 лет, и почему-то ни мне, ни ему — хотя бы ради удовлетворения моего этнографического интереса — не приходило в голову, что можно было бы как-нибудь и побывать в одном из подъездов улицы Куйбышева. Их я в 1990-е обошел вдоль и поперек благодаря журналистской работе. Впрочем, возможно, проход детей ответработников в здание ЦК не поощрялся или был прямо запрещен. Зато, даже не звоня по телефону отцу на работу, его номер я запомнил на всю жизнь — 206-46-31. На 206 начинались все цековские номера и отчасти номера некоторых зданий ЦК комсомола, расположенных

напротив, в районе Маросейки, по-старому, улицы Чернышевского. В то время, когда отец стал работать в ЦК, возможно, такие номера уже были — переход с буквенно-цифрового набора на цифровой произошел на рубеже 1968 года…

Разумеется, я не воспринимал отца как большого начальника — просто он каждый день еще до восьми куда-то уходил на работу в костюме и галстуке. А часов в восемь вечера возвращался домой с неизменным гостинцем. Высокий, усталый и веселый. А многочисленные его командировки память деликатно отсеяла — только и помню, что из Львова он привез настоящий бандитский нож: можно было нажать на кнопку — и тогда выскакивало лезвие. Только это было еще до кураторства «Северо-Запада».

Сектор, с 1966 года подотдел, а в дальнейшем отдел писем играл в помощи людям немалую роль. Нам удалось произвести буквально революцию в работе с предложениями и жалобами трудящихся, поворот партии лицом к народу с его нуждами, запросами и требованиями. Это очень нелегко давалось. Помимо господствовавшего тогда в партийных кругах нигилизма по отношению к правовым нормам, существовал и нигилизм по отношению к письмам людей. Сколько приходилось на всех уровнях доказывать, что письма — это средство выражения общественного мнения, форма участия населения в управлении делами общества, надежный путь укрепления связи партии с народом. Но, увы, в Конституции не было такой нормы — права граждан на обращение, не было и какого-то решения ЦК по этому вопросу.

На всё нужен был свой нормативный акт — и слово в докладе руководства. Именно поэтому либеральные спичрайтеры высших руководителей так старались вставить в речи первых секретарей что-нибудь прогрессивное: слово весило столько, что могло многое изменить. Советский режим был даже не идеократией, а логократией — в нем правили слова.

Что же касается писем «трудящихся», то от них, конечно, ждали здравиц, благодарностей и восхищенных слов. А шли жалобы, на которые не хотелось обращать внимание; для устойчивости же режима и, конечно, познания страны — стоило бы. Обращения футболили из ведомства в ведомство, но тем не менее иной раз ставили «на контроль», не говоря уже о том, что пресса была обязана отвечать на обращения. Иной раз письма «звали в дорогу» журналистов, и получались, если разрешали, конечно, потрясающие сюжеты, которые могли сделать имя репортеру или очеркисту, и их читала вся страна.

Потребовались годы для переделки сознания партийных

работников, для поворота их к насущным проблемам людей, а по сути — «социализму с человеческим лицом». В спорах приходилось ссылаться даже на Сталина — в его бытность секретарем ЦК в 1920-е годы были дни и часы приема посетителей, о чем извещала табличка на 4-м этаже здания ЦК. На мою голову сыпались обвинения в формализме и бюрократизме, особенно яростно сопротивлялись по поводу пресловутых табличек, которые мы рекомендовали использовать во всех партийных комитетах, государственных и хозяйственных органах. Резон наш был прост: без четкого графика всегда можно было отказать в приеме посетителя, сославшись на занятость, а график, да еще утвержденный на бюро и выставленный на всеобщее обозрение, обязывает любого руководителя быть в такие-то дни и часы доступным людям, чего, конечно, многие не хотели. Только наша принципиальность или настырность, как ее называли, привели к утверждению этого правила на практике. Дальше пошло легче — не только графики работы, но и единые дни приема по району, городу, области.

Была выстроена и система учета, анализа и обобщения предложений, мнений и жалоб граждан и, что немаловажно, создана система отчетности по работе с письмами и жалобами. Пошло-поехало, эти сведения были включены в официальную статистику, и информация полилась автоматически, без ненужных уговоров и увещеваний. Затем последовали новые этапные меры — дни открытого письма, когда первые лица в городах, областях, республиках отвечали на вопросы всех желающих. В общем, состоялся бурный расцвет «непосредственной демократии». Далее мы стали подводить под нашу систему общения с людьми современную базу — постепенно компьютеризировали обработку огромных массивов поступавшей информации.

Жизнь сама поставила вопрос о выделении работы с письмами в самостоятельный отдел ЦК. Как всегда, новое дело затевалось в обстановке полной секретности. По заданию Б.П. Яковлева я заперся в кабинете и от руки (к машинисткам нельзя было обращаться!) написал примерное положение об отделе и его штатное расписание, которые вскоре были утверждены Секретариатом ЦК. Началось переутверждение кадров. Обидно, конечно, что мне не нашлось места в придуманной мною же структуре. Я был утвержден только заведующим сектором Северо-Западного региона. А когда в 1980 году Отдел писем был вновь реорганизован в подотдел Общего отдела, меня вернули «на круги своя» — я стал заместителем заведующего, как и в далеком 1973 году. Как говорится, «такова селяви»…

Шеф отца — Борис Яковлев, человек на 20 лет его старше, пережил папу на 8 лет — умер в столетнем возрасте. Типичный партработник, которого помотала жизнь на секретарских должностях в Киргизии, Владимире. В ЦК он попал в 1966-м из КПГК и, судя по всему, приложил руку к появлению отца на Старой площади. А сектор Северо-Запада… Для меня это было счастье: Литва, Латвия и особенно Эстония, в детском сознании ставшая второй родиной. До сих пор мне хорошо дышится только в тех краях: я оживаю в Прибалтике и Скандинавии. Как будто кто-то вставляет в меня батарейку, транслирующую энергию. И ощущение покоя. Во время одной из одиноких прогулок по шведскому острову Лидинге я наткнулся на березу, проросшую сквозь бук. Эти двое — такие разные — были обречены быть вместе до самого истлевания…

Этот фрагмент заканчивается ироническим интеллигентским оборотом, который совершенно исчез из сегодняшнего употребления — «такова селяви». Культурная подкладка стандартных идиом стерлась до дыр и иной раз до полного исчезновения. Иногда отец, опрокинув рюмку водки, произносил следующее: «Эх, как пьют беспартийные!» До сих пор не знаю точного значения этой чудесной формулы: то ли это вопрос — как вообще беспартийные могут пить такие крепкие напитки, то ли утверждение — вот ровно так пьют люди, не состоящие в КПСС. Еще папа любил вставлять по ходу разговора слово «якобы», и тут же любое пафосное утверждение немедленно лишалось своей пафосности и категоричности. Всё в этом мире становилось кажимостью, заслуживающей иронического сомнения.

Иногда папа ставил на мой письменный стол наш приемник *VEF* и, устроившись поудобнее, как он это иногда делал, когда писал статьи для органов ЦК КПСС — журналов «Агитатор» или «Политическое самообразование», начинал сосредоточенно крутить ручку приемника. То есть работник Центрального комитета ловил сквозь вьюжные посвисты вражеские голоса. Информации ему, что ли, не хватало? И почему он не стеснялся делать это при мне? В этом процессе было что-то захватывающее — нечто от проникновения в суть вещей.

* * *

Доблестный труд мой был увенчан орденами «Трудового Красного знамени» и «Знак почета». Я уже стал чувствовать себя ветераном, и пора было бы демобилизовываться с боевой службы. Но к этому времени предложена мне была новая работа в

Президиуме Верховного Совета СССР — заведующим приемной (тот же отдел писем и приема граждан). Подумав и серьезно посоветовавшись с Толей Лукьяновым (он к тому времени был уже замзавом Общего отдела ЦК — как все-таки причудливо переплетались наши судьбы!), дал согласие и с 1 августа 1986 года приступил к исполнению новых обязанностей на последнем, как оказалось, месте работы.

Так и завершилась моя двадцатилетняя работа в штабе партии на Старой площади. 20 лет растаяли как дым. Молодым коммунистом вошел я с волнением в эти старые стены. Всякое было. Но это был мой родной дом на протяжении долгих и драматических лет строительства нового общества — осуществления заветной мечты многих поколений советских людей, в том числе моих родителей и учителей. Удалось ли мне в какой-то степени отразить чистоту их души, светлую веру в добро и устремленность к великой цели — воплощению в жизнь идеалов Парижской коммуны? Наверное, нет, мне это не под силу. Но своим внукам я хотя бы чуточку приоткрыл занавес, за которым скрывались наши жизненные усилия на пути к светлому будущему. Мы не лукавили, не ловчили, не хапали, не спекулировали, презирали тунеядцев, демагогов и приспособленцев, не поддавались на подкупы и угрозы, не нажили состояния, какого-то богатства, с достоинством выдерживали удары судьбы и делали всё, чтобы наши дети и внуки выросли честными и порядочными людьми. Это — главное.

Для полноты картины я только добавлю еще несколько строк о последнем моем месте работы в советских органах, но и это было продолжением моего партийного дела. Был и остаюсь коммунистом до конца.

…Итак, в 1986 году я оказался в массивном здании приемной парламента страны, где в свое время вел прием граждан еще «всесоюзный староста» М.И. Калинин. Здесь всё было непривычно, тихо и спокойно еще со времен ЦИКа и ВЦИКа. Коллектив умудренных зубров с недоверием воспринял «нового начальника из ЦК», не ожидая от него ничего хорошего. Так оно и произошло.

Я сразу встряхнул эту «болотную жизнь», вдохнул цековскую энергию в чиновничью среду, опираясь на молодых, «не очиновьенных» напрочь людей. Среди старых работников также оказались сильные профессионалы, склонные к переменам. И дело пошло. Но мои ультрademократические установки поначалу воспринимались в штыки. Инерция, привычка к размеренной жизни мешали многим принять новый стиль и ритм, навязывавшийся «выскочкой» из ЦК. Я не отступал: «Всё будет как в ЦК!» Сопротивление длилось года два, пока, наконец,

сотрудники не убедились, что всё делается не ради какой-то личной выгоды, а для их же блага, главное — для совершенствования работы, перевода ее на современные рельсы. А это прежде всего автоматизация, компьютеризация, что было поставлено мной в качестве первоочередной задачи. Планы были хорошие, но нам всегда не хватало средств. Пришлось побегать по инстанциям, поубеждать сомневающихся и недовольных. Более того, даже пожилых, зрелых людей надо было посадить в учебный класс, чтобы обучить работать на компьютере.

1980-е — не самое мое любимое время, несмотря на то, что на них пришлись студенческие годы, важнейшим визуальным рядом которых был черно-белый германовский «Мой друг Иван Лапшин», а главным саундтреком — Борис Гребенщиков. Слишком неаппетитно гнил режим и от собственных равнодушия и немочи высыхала империя, из которой почти зримо уходили соки жизни. В этом смысле застой 1970-х — парадоксальным образом еще не столь унылое время. А 1980-е запомнились какими-то всполохами, часть из которых связана с книгами — библиотечными, самиздатовскими, букинистическими (тогда еще в Москве были вполне достойные букинистические магазины, где много чего можно было найти — только денег не было), университетскими.

Я могу не помнить содержания книги. Но помню обстоятельства, время, место и освещение, когда ее читал. Например, сценарий Бергмана «Змеиное яйцо» читал в автобусе, уходящем из дачного поселка «Снегири», где отцу, заступившему на новую высокую и последнюю в жизни аппаратную должность, дали дачу, в Москву.

Давно искал книгу «Антониони об Антониони», которую когда-то брал в библиотеке. Искал, как выяснилось, почти 30 лет. Подсчитал время поисков тогда, когда нашел этот сборник в букинистическом отделе магазина «Москва», где года за три до этого стал обладателем еще одной вожделенной книги — «Бергман о Бергмане», со сценарием самого совершенного произведения киноискусства — «Фанни и Александр». Так вот, раскрыв антониониевский «Тот кегельбан над Тибром», вдруг увидел зрением памяти обстоятельства прочтения: та же книга, середина 1980-х, номер в пансионате «Лохусалу» под Таллином, приглушенный свет пасмурного дня, струящегося сквозь жалюзи.

Синий декабрь, синий том из нового собрания сочинений Вознесенского с воспоминаниями о Пастернаке, декабрь 1983-го, личная попытка найти квартиру Пастернака в Лаврушинском, как будто навестить его самого. Так к нему приходили с улицы молодые поэты. Например, Евгений Рейн, которого Пастернак

накормил яичницей.

Во второй половине 1980-х вроде бы началось другое чтение. Но для меня, читателя самиздата, оно оказалось всего лишь сменой внешней оболочки — часть из того, что я читал на папиросной бумаге и в самодельных зеленых, синих, красных переплетах, перекочевало в журналы, которые предстояло осваивать индустриальными методами, десятками названий. Что сильно расширяло круг чтения, но не меняло его характера.

…Назначение отца было «перестроечным» — новая метла из ЦК действительно должна была встряхнуть жизнь в советском — в буквальном смысле советском, от словосочетания «власть Советов» учреждении. Функционал советских органов, особенно на вершине пирамиды, до начала перестройки, когда власть начала постепенно утекать из аппарата ЦК, была, деликатно выражаясь, не слишком утомительной. Имитационный «президент» — председатель Президиума Верховного Совета (в иные времена — просто Верховного Совета), имитационные палаты, спокойная и размеренная жизнь аппарата. Всю эту машину когда-то, до очередного взлета своей карьеры, возглавлял Брежнев, завлекая на работу в Верховный совет своих товарищей прекрасным дачным поселком. Который действительно был во многих отношениях гораздо лучше нарочито ригористичных цековских. В поселках ЦК пленные немцы возводили миленькие и простенькие коммунальные деревянные дачи, рассчитанные сразу на несколько семей. В поселке же Верховного Совета, расположенном в по-швейцарски живописном месте над Истрой, прямо из «Утомленных солнцем», те же немцы до конца 1940-х строили каменные дома. И даже облагородили чрезвычайно живописный пруд над берегом Истры, оставив не бетонном берегу дату окончания работ — 1948-й. Аппаратчики второго разбора пользовались старинным корпусом, переделанным из графской усадьбы в дом отдыха, с удобствами в коридоре, зато уже менеджмент выше среднего жил не хуже крепкого советского писателя или большого начальника из идеологического органа — центральной газеты или журнала.

Дача, которую получил отец, была не из разряда престижных, то есть новых, кирпичных с элементами позднебрежневского шика, зато она стояла на отшибе, практически в лесу и в ней всё дышало историей. Не в том смысле, что здесь жили привидения из числа арестованных руководителей, а просто историей: она была старой, в ее скрипучих половицах и каменной основательности жил послевоенный дух. В общем, она была такая — *old-fashioned*, полторы комнаты наверху, одна внизу плюс кухня и застекленная веранда. Очень уютно, а главное, там хорошо

было читать книги и журналы из местной прекрасной библиотеки — до перестройки журналы мы не выписывали, читали в библиотеках санаториев во время отпуска, а тут вдруг жизнь оказалась сплошным отпуском с запойным чтением. Метрах в двадцати от дачи, в лесу, было место для костра, где мы иногда даже откровенничали с братом, вообще говоря, не склонным к разговорам на интимные темы. В этом закрытом мире можно было жить десятилетиями и прожить всю жизнь. Что, кстати, и происходило с некоторыми счастливчиками — работниками аппарата. Странно, что убежище для спокойной жизни пряталось в самом сердце этой беспокойной власти.

Помимо внутренних проблем появилось и множество внешних — как и следовало ожидать, надо было преодолеть психологические и чисто дипломатические препоны в отношениях с заведующими другими отделами, считавшими себя знатоками права и экономики, а также с разного рода руководителями, включая председателя Президиума Верховного Совета СССР А.А. Громыко — легендарного члена Политбюро и многолетнего министра иностранных дел.

Удалось убедить Андрея Андреевича в необходимости обновления работы приемной президиума ВС СССР. Сложнее обстояло дело в отношениях с секретарем президиума Т.Н. Ментешашвили. Человек без юридического образования, с болезненным самомнением, он постоянно подозревал всех в покушении на его авторитет. Да и должность его была в значительной степени декоративной. По статусу он должен был заниматься аппаратом президиума, но существовал еще и пост начальника секретариата, которому подчинялись все отделы. Получался, командир без армии, а через голову управлять как-то неудобно, вот он и сопротивлялся на всякий случай по поводу и без повода любым, даже простейшим предложениям. Был еще один промежуточный начальник — заместитель председателя президиума Петр Нилович Демичев, он же кандидат в члены Политбюро. Демичев вроде тоже брался руководить аппаратом. Да, сложная конструкция! И вот среди этих хитросплетений мне нельзя было делать неверных шагов.

Поэтому я сделал другой шаг — партийный. На парткоме был заслушан мой доклад о работе Приемной и перспективах развития. Партком поддержал мои выводы и предложения. Основа была заложена, и я начал смелее действовать дальше. Впервые после Калинина удалось добиться, чтобы президент — Громыко, его заместитель и секретарь президиума приняли участие в приеме населения без всяких ограничений и предварительных условий. Конечно, это стоило мне кровушки, но

в данном случае поворот механизма должен был начаться сверху.

Поворот любого механизма должен был начинаться сверху. При всем глухом недовольстве советской властью снизу, никакого массового движения за обновление не состоялось бы, если бы это не было разрешено сверху Горбачевым. Однажды, наверное, году в 1987-м, мы гуляли с отцом по Филевскому парку, возвращались в наш цековский квартал, и я спросил его: «Что теперь будет?» «Что скажут сверху, то и будет», — быстро отреагировал папа. Тогда я внутренне с ним не согласился — демократия, гласность, пробуждение сознания, снизу идет волна самоорганизации. А спустя много лет понял: сверху сказали — да будут демократия, гласность, пробуждение сознания. И как сверху сказали, так люди и поступили. Что разрешено — то и строго указано. А дальше ситуация просто вышла из-под контроля, и Горбачев вынужден был бежать впереди лавины, изображая, что он ее возглавляет.

Что же до Тенгиза Ментешашвили, то само его назначение в 1982 году на пост секретаря президиума Верховного Совета СССР было знаком сохранения стабильности и преемственности в советских органах — он, вызванный в Москву с поста главы Тбилисского горкома партии, стал преемником Михаила Георгадзе, человека, занимавшего этот пост в течение четверти века вплоть до своей кончины. Итого, два грузина 32 года подряд подписывали акты советской власти рядом с фамилиями Ворошилова, Брежнева, Микояна, Подгорного, снова Брежнева, Андропова, Черненко, Громыко, Горбачева. Никто ничего специального не имел в виду, сохраняя эту квоту на чиновников из Грузии, но ведь специально хранили традицию — до самого момента упразднения должности. Одна из загадок советской власти.

Наша дача стояла неподалеку от дома Георгадзе, который на неопределенное время сохранили за его семьей. Он стоял, как таинственный замок, укрытый корабельными соснами и словно готовый исчезнуть в любой момент в Истре…

А охальник Левенсон, заранее веселясь, спрашивал у папы: «Володя, ну как там твой шеф поживает?» — и очень похоже изображал слегка перекошенную физиономию Андрея Андреевича Громыко. Мы с мамой умирали от смеха, папа пытался соблюдать корпоративную этику и лишь сдержанно улыбался.

Однако в последние годы существования КПСС и Советского Союза мнение трудящихся, содержавшееся в письмах и обращениях граждан, игнорировалось и на самом высшем партийно-государственном уровне. Например, все мои обращения к первому помощнику М.С. Горбачева Валерию Ивановичу

Болдину с просьбой дать возможность доложить наши информационные сводки, в частности, о нарушениях прав русских в Прибалтике оставались втуне. Однажды генсек даже полюбопытствовал у председателя Верховного Совета СССР: «Кто это у тебя там — Колесников? Скажи ему, пусть не паникует». «Паника» же моя, как подтвердилось в дальнейшем, была своевременной и обоснованной, и всё это обернулось тяжелыми последствиями.

Кстати говоря, любопытно, что поначалу мои записки о письмах трудящихся, критиковавших «первую леди СССР» Р.М. Горбачеву, с интересом были восприняты А.А. Громыко, но затем было сказано: «Я докладывать не буду, если хочешь, обращайся в ЦК». Я обратился к Болдину и получил ответ: «У тебя свой начальник, вот к нему и обращайся». Круг замкнулся.

Приемная Верховного Совета оказалась этакой всероссийской фокус-группой. Понятно, что отец видел в письмах и жалобах то, что сам хотел видеть и/или что ему самому не нравилось. Прибалтику он любил, но примерно в том же духе, как имперский чиновник Ее Величества любил, например, Индию. Разумеется, столкнувшись впервые в истории с публичным феноменом первой леди, отдельные советские трудящиеся сильно удивились, потом возмутились и затем взялись за перо и застрочили в инстанции. Недовольство, возможно, было массовым, но исходило оно уж от очень охранительной части масс. Что хотел изменить начальник Приемной Верховного Совета? Стиль Горбачева? Да кто бы его стал слушать… И со своим многолетним аппаратным опытом, где были конфликты с самим Черненко, отец лез в пекло поперек батьки. Разумеется, и Громыко, и Болдин могли лишь приостанавливать эту чрезмерную активность по предъявлению гласа народа на самый верх. Впрочем, что там опыт: тот же Болдин впоследствии — с его-то аппаратной школой — промахнется в выборе стороны в попытке дворцового переворота и фактически предаст своего патрона. Возможно, в этой ситуации ему нужно было не аппаратное, а другое — политическое — чутье.

История Советского Союза близилась к концу. Подходила к финишу и моя трудовая биография. Осенью 1990 года я собирался уйти на пенсию, разумеется, продолжив работать в профессиональном юридическом качестве. Однако этому не суждено было сбыться.

Отец очень устал. Все усилия шли прахом. Его страна разваливалась. Остановить его добровольный уход со службы уже было невозможно. Я это чувствовал, интуитивно побаиваясь даже не только собственно перехода от активной работы к

пенсионному существованию, но и психологических последствий самого этого решения. И не зря боялся. Эта история закончилась тяжелейшим инсультом на следующий же день после официальной отставки. И десятью годами постепенного мучительного ухода с еще двумя мощными инсультами. Плата за военное детство. За работу на износ. За природное нездоровье. За *не*равнодушие.

Мне было 25 лет. И уже тогда жизнь мне стала казаться процессом под названием «Выносите своих мертвецов» — потому что за отцом ушли сначала мама, а затем брат. Процесс занял почти 16 лет и, не слишком закалив меня, вымотал, лишил моральных сил. Потом было много смертей близких людей, и я даже стал к ним привыкать. И что я замечал? Лишь один мой друг, побывавший «там» и вернувшийся «оттуда», говорил об оранжевом свете и множестве людей, плывущих вместе в лучах охры. А я видел, что перед смертью человек живет как будто бы в снах, «едет домой», возвращается в молодость или даже к маме и папе, считает себя молодым. Это реальность, которую выдает ему под самый занавес существования мозг, работающий как Солярис: умирающий свободно перемещается во времени и пространстве. И нет более верного признака близкой кончины, чем эта отправка с воображаемого перрона «домой», к маме и папе.

В результате моя старая бумажная записная книжка и даже многие фамилии на сим-карте превратились в кладбище, в список забытых адресов и людей, исчезнувших вместе с замолчавшими телефонными номерами.

Нет-нет, в России нельзя жить долго, иначе проводить будет некому. Мало платежеспособных потомков. И дай бог наскрести на крайний случай четырех немолодых кряхтящих мужчин с грыжами в позвоночнике. Одним из которых нередко оказывается водитель «перевозки». Если, конечно, у него легкий характер и доброе сердце.

Спустя десять лет после смерти родителей и брата началась череда кончин старух из числа «родных и близких». И старших друзей, которые формировали меня в разные периоды жизни. И это уже не «конец эпохи», как было принято говорить на поминках. Это с грохотом отваливаются огромные куски породы — куски тебя самого. И тебя становится всё меньше — потому что эти люди читали, ценили, понимали. И главное — любили тебя. Теперь их нет — и я… истончаюсь.

…Моей двоюродной сестре сразу после смерти ее мамы приснилось, как она собирает людей на сорок дней. И в том числе зовет «дядю Володю». В ее сне мой папа пережил свою младшую сестру. А может быть, она просто так сообщала ему на тот свет о

кончине сестренки, которую звали Еленой и называли в семье ласково, как самую младшую, Ёлочкой.

Глава 6. По волне моей памяти

Можно смело сказать, что всю жизнь я прошел с песней. Музыка всегда звучала и до сих пор звучит в моей душе и частенько «вырывается» наружу. С утра, например, если я на природе, обязательно пою низким басом рахманиновскую «Благословляю вас, леса…» — и полностью сливаюсь с окружающими деревьями, рекой, полянами. Днем — это могут быть песни боевые, маршевые. Вечером — лирические или колыбельные: от «идеологической» для маленького Сережи («Спи, мой сынок, вырастай на просторе, тебе укажет Сталин дорогу своей рукой, спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной») до классики, уже для внуков всех поколений («Спи, моя радость, усни…»). А уж интонации и репертуар любимого Георга Отса — всегда со мной.

Эту колыбельную Блантера на стихи Исаковского потом пела Анна Герман, правда, уже не упоминая указующий перст товарища Сталина. Мелодия и в самом деле очаровательная, но в ней ошеломляюще отчетливо угадываются еврейские мотивы — Матвей Исаакович Блантер, автор более двухсот советских песен, уж расстарался. Возможно, их сочли кавказскими и дозволили выйти в большой мир.

Репертуар Отса папа действительно исполнял очень похоже. В смысле похоже на самого Отса. Я запомнил прозрачный и холодный летний день, когда мы посещали могилу певца на просторном лесном кладбище в Пирита, столь не похожем на русские погосты. И без запинки могу отбарабанить арию мистера Икса. Правда, про себя или в одиночестве — чтобы не пугать окружающих.

* * *

Мы пели всегда и везде — в школе, в пионерлагерях, особенно в походах. Любая компания в середине встречи запевала хором. Это была и вся русская серия о ямщиках, бродягах, реже — из-за неприличных оборотов — частушки, но более всего так называемые советские массовые песни. Ну, и мелодии из оперетт, и «цыганщина» с пляской. Кстати, особенно хороши были фирменные выходы Толи Лукьянова, который всегда упоминал, что его бабушка была «сербиянкой», и моей несравненной Дели, причем несмотря на все ее инвалидные проблемы.

У нас сложился прочный и, мне кажется, неплохой дуэт с

Володей Митяевым: он ведет теноровую партию, а я басовую. Иногда, правда, приходилось петь и за теноров — ввиду их отсутствия. Вытягивать, например, неаполитанские песни.

Музыка — фон детства. Не умеешь говорить — то есть не знаешь названий и исполнителей, — но помнишь «бэк-вокал» первых лет жизни. А спустя 30, 40, 50 лет приходит радость и удивление узнавания. Или просто что-то трогает невидимые струны в сознании — и сердце щемит от этой фоновой музыки. Как будто «радио Солярис» передает «концерт по заявкам» через твои голову и душу. То, что тогда просто было звуками, сейчас становится многозначным символом, поводом для ностальгии — иногда двойной, если не тройной — по детству как таковому, характеру мелодии, свойственному невозвратимой эпохе, и точно подобранным словам о детстве: таков, например, эффект «Ты погоди» Аедоницкого и Шаферана в исполнении Мондрус («Детство мое, постой…»).

Или всплывает что-то из подсознания или, наоборот, вплывает в него, без названия, со смутными, едва нащупываемыми образами, как слово, которое вертится не языке, а ты его не можешь вспомнить, И снова сердце сжимается в комок — выясняется спустя почти полвека, что это, случайно узнанное, — «Сумерки» «Поющих гитар», 1969 год. Совершенно нездешняя музыка гитариста Анатолия Васильева в решительно вестернизированном исполнении Евгения Броневицкого, а ведь это конец 1960-х, и не где-нибудь, а в СССР.

Или ироническое словосочетание-паразит тех времен — «Вот она была — и нету». Так это же из совершенно волшебной, с какими-то бестолковыми словами и очень несоветской мелодией «Снежинки» тех же 1960-х и снова в исполнении Ларисы Мондрус. Наверное, самой шестидесятнической из всей плеяды шестидесятнических певиц, начинавшей совсем юной не где-нибудь, а в оркестре Эдди Рознера. Такого ведь больше не повторить: Кристалинская, Пьеха, Бродская, Миансарова, Ведищева… Даже когда Мондрус пела этакую «правильную» вальсовую «Мою счастливую пору» того же блистательного мелодиста Аедоницкого, это было ошеломляюще обаятельно: песня, собственно, о том, что любить можно не только весной, подчиняясь графику сезонных сельскохозяйственных работ, но и осенью…

И совершенно адаптированная к шестидесятническому СССР Мари Лафоре с ее *Ivan, Boris et Moi*. Вот по какому принципу одни «мелодии и ритмы зарубежной эстрады» допускали, а другие — нет? Почему блондинка — воплощенная порочная невинность — стала своей? Чем Лафоре привлекала? Иваном с Борисом?

Антоном из той же песни? Сашей? Наташей оттуда же? Всей семейкой, перепетой потом Иошпе и Пьехой? А «Манчестер и Ливерпуль», вдруг ставший саундтреком советской погоды с 1968-го по 1981-й…

Всё лучшее имело в своей основе Запад: переделки, подражания, перепевы, переводы или «наши ответы» — например, песня об утраченной любви «Листья летят» в ответ на *Autumn leaves*. Очень по-западному — как черно-белое итальянское кино — выглядела грузинская эстрада тех лет, напрочь забытая сегодня, ее далекие отголоски — это Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе в том виде, в каком их помнят в 1970-1980-е. Но это уже период всесоюзного опопсовения. А тогда это были оркестр «Рэро», ансамбли «Диэло» и «Орэра» с потрясающим западным, грузинским, русским репертуаром. Что характерно, в «Орэре» Кикабидзе был барабанщиком с фантастической белозубой улыбкой, которая потом сразит всех наповал в «Не горюй!» Георгия Данелии, фильме, где Буба споет старинный грузинский хорал «Шен хар венахи». Те же годы — это нездешние джазовые голоса Нанули Абесадзе и Гиули (которую, когда она пробилась на уровень всесоюзной эстрады, транскрибировали как Гули) Чохели. Лили Гегелия, как и Кристалинская, пела «В нашем городе дождь», причем почти без акцента. Потрясающий тенор — Сулико Корошинадзе…

Со всем этим разгулом талантов 1960-х надо было заканчивать. И с эстрадой шестидесятых в 1970-е покончили, всё стало каким-то плоским, лишенным стиля, а многие звезды тихо отправились в эмиграцию или стали петь бесцветную муру.

Игре на гитаре я обучился дома — даже мама играла понемногу. А потом и в компании моих сверстников-соседей по квартире в Дегтярном переулке мы много музицировали, все самоучки, и так научили меня немного бренчать на пианино, несколько аккордов, чтобы можно было аккомпанировать в случае необходимости. И вот — фронтовая Москва, военные тяготы, голод — а молодежь всё равно собиралась на вечеринки, мы танцевали, пели, веселились, да и вообще жили весело.

Я думаю, что это бодрое настроение питалось уверенностью в обязательной и скорой Победе. 9 мая 1945-го в 4 утра в дверь постучал мой одноклассник Сережа Мошковский — он услышал весть о Победе по ночному радио, — и мы всей своей компанией выскочили на улицу. Было очень холодно, но этого никто не замечал. Во всех окнах горел свет, со всех балконов неслись крики «Ура!», и мы кричали, наверное, громче всех. Маршрут был один — на Красную площадь. Это был великий день народного ликования, гремел грандиозный салют, в темном небе метались

лучи военных прожекторов, реял красный флаг с портретом Победителя — Сталина. Состояние у всех, у многотысячной толпы было восторженное — наконец-то мы победили! Победил народ, весь, а о солдатах и говорить нечего, каждого из них, оказавшихся на площади, дружно брали и подбрасывали в ночное небо, невзирая на мольбы о пощаде.

Это поколение было сформировано Победой, причем в не опошленной и не официозной ее интерпретации. Отчасти по той причине, что представители отцовской генерации ее застали в сознательном возрасте. Потом такое же единение нация испытала после полета Гагарина — люди добровольно, повинуясь искреннему восторженному порыву, выходили на улицы. Это был последний раз, когда нация оказалась единой — причем даже со своим правительством. Что еще видно по кино шестидесятых. Ближе к концу десятилетия всё закончилось — раз и навсегда. Пути представителей поколения разошлись.

Петь и танцевать стали еще больше. Каждый вечер я возвращался домой с окровавленными пальцами, изодранными о гитарные струны. Ведь и пели под гитару, и плясали под гитару, и танцевали. А гитарист-то один — то есть я.

Так повелось всю жизнь. Все праздники, а затем свадьбы, другие торжества могли состояться только при наличии моей гитары. Пел я много и громко, до потери голоса, который, правда, тогда восстанавливался довольно быстро, буквально через день.

В моем положении, однако, была одна неловкость: я играл, пел, а мои друзья под эту музыку танцевали с девушками, в то время как я был обречен сидеть на стуле или на диване, и только тогда, когда ставили пластинку, мог пройтись немного с Делей или какими-либо «дамами», особенно в «дамском вальсе». Конечно, девочки меня благодарили и хвалили за «спецобслуживание», но порой мне было досадно, казалось, что меня и приглашают-то лишь в качестве тапера. Но, разумеется, это было не так. Мы жили как одна очень дружная семья и сохранили это необыкновенное содружество до конца наших дней.

Дамский вальс — это когда дамы приглашают кавалеров, аналог белого танца. Удел гитариста, к тому же влюбленного в свою будущую жену.

Гитара поначалу была и способом компенсации скучной учебы в Московском юридическом. Хотелось театра, песни и пляски, а приходилось сидеть над какой-нибудь политэкономией социализма. Любительский хор и руководство в 1948-м драмкружком почему-то истфака МГУ с участием в том числе трех взрослых мужиков, включая бывшего командира дивизиона

катюш, отчасти оправдывали поражение с выбором профессии. Гитара смягчала разочарование. В 1947-м отец вел дневник, и там описан такой же вечер — под его «аккомпанемент» в день 800-летия Москвы, с вполне себе «собянинской» иллюминацией, портретом вождя, народными гуляниями сначала от Белорусского вокзала к Красной площади, затем — в обратную сторону.

Три десятилетия спустя Анатолий Лукьянов посвятит отцу стихотворение, которое мне очень нравится. Заканчивается оно так: «И эта верная мелодия / Я знаю, нас переживет. / Возьми гитару, спой, Володя, / Пусть песня облаком плывет».

Вот это «спой, Володя» говорит о том, что застольная роль отца не сводилась к функционалу тапера: его гитара была частью саундтрека целой эпохи. А затем и ностальгии по ней.

Однако вот что характерно. В гитарном репертуаре круга отца был Визбор (немного), однако отсутствовал, например, Галич. Социально это все-таки было другое *milieu*, и, если Визбор оказывался советским и разрешенным, балансирующим на грани, Галич эту грань перешел. Но дело, собственно, даже не в этом: его записи в кругу отца в принципе не распространялись. И магнитофонов в сообществе, в котором не наблюдалось никаких элементов подпольности или хотя бы полуподпольности, тоже не было. А гитара — как социальная сеть — была. Но, разумеется, не только и не столько соцсеть диссидентская — это просто был самый доступный и удобный для лирического разговора любого сорта инструмент.

Я не подсчитывал, но думаю, что держу в памяти 200–300 песен, арий, романсов. Причем легче запоминаю тексты, положенные на музыку, а чисто стихотворные — запоминаю труднее.

В связи с этим вспоминаю рассказ Константина Петровича Виноградова — главного хормейстера Ансамбля Советской Армии и бывшего дирижера и художественного руководителя нашего любительского хора. Он рассказывал, что Ансамбль всегда приглашался на правительственные приемы в Кремль. Сталин очень любил песни в их исполнении, но для артистов это всегда была мука. Надо было всё время держать наготове репертуар из не менее чем 300–400 песен, так как после официального концерта «вожди» всегда заказывали какие-то особенные номера из времен Гражданской войны. А.В. Александров не мог ответить, что Ансамбль не знает какой-то песни. После исполнения нескольких старых песен Сталин оживлялся, подходил к хору и делал знак, что сам хочет спеть. Александров взмахивал палочкой, и огромный хор затягивал известную мелодию «Яблочко», а Сталин надтреснутым тенором негромко запевал:

«Эх, яблочко, куда ты котишься, в губчека попадешь, не воротишься» — и довольный отходил к столу. Затем начинались пляски с участием маршалов Буденного и Ворошилова. Так веселился вождь всех времен и народов.

Чудовищный, страшный анекдот (в старинном значении слова). Целый ансамбль, как в древней легенде, общается с живой мумией без права на ошибку и с шансом сразу после концерта отправиться на Лубянку. Но раз хормейстер рассказывал эту историю своим подопечным-любителям, значит, он делал это, имея в виду замечательные коммуникативные свойства товарища Сталина. Ведь про начальство — или хорошо, или ничего. Иначе — в губчека попадешь, не воротишься.

Свойство жестких режимов — отвратительные черты автократа оцениваются как глубоко положительные. Да, страшно. Зато как все построены. И как на выходе — весело. Пляшущие маршалы…

Интересно, были ли в заготовленном — для физического выживания! — репертуаре ансамбля народные грузинские песни?

Константин Виноградов счастливо пережил эпоху Сталина, получив в 1950 году Сталинскую премию первой степени, скончался в 1980-м. А вот сам руководитель ансамбля Александр Александров, проделавший путь от регента хора храма Христа Спасителя до автора музыки советского гимна, умер в 1946-м на гастролях в Берлине.

Ну, а мое пение продолжалось всю жизнь — и дома, и в зарубежных поездках, когда приходилось по четыре-пять часов «солировать» в автобусах наших партийно-туристических групп, колесивших по Болгарии и Польше, ГДР и Чехословакии.

Помню еще одно «выступление» в Италии, где была делегация работников ЦК КПСС на празднике газеты «Унита». В день закрытия фестиваля нас пригласили в русский ресторан советского павильона. Играл молодежный ансамбль из Литвы. Главным шлягером оказался… «Интернационал». Надо было видеть, как сотни людей в разноцветных одеждах громко пели и восторженно танцевали под великую мелодию пролетарского гимна. Взыграло ретивое, я не выдержал и присоединился к толпе с красавицей Дамирой Усмановой — женой первого секретаря Татарского обкома, а потом взобрался на эстраду, взял микрофон у остолбеневшей певицы, крикнул ребятам из ансамбля, что буду петь итальянскую песню «Красное знамя», и затянул: *Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa*… Что тут началось! Народ прибывал в наш павильон со всех сторон, многие забирались на эстраду, заключали меня в объятия, и мы вместе продолжали петь эту замечательную партизанскую песню. После

бурных оваций мы снова вернулись к «Интернационалу» — тут опять все затанцевали. Кстати, уже тогда начинались сложности: если с рядовыми итальянскими коммунистами мы понимали друг друга с полуслова, то на «областном» уровне отношения были уже посуше, а в ЦК КПИ — просто официальная встреча протокольного типа.

О, сколько разных пластов сошлось в этом фрагменте! Для начала перечислены все — то есть буквально все — заграничные поездки родителей. Разумеется, без детей, потому что отдых носил характер чуть ли не официальных визитов, был строго организованным и групповым. ГДР — это вторая половина 1970-х. Твердо помню, что сидел на даче и сильно скучал по родителям, подолгу изучая присланные открытки. Всё остальное — уже 1980-е. Почему-то не было ни одной поездки в конце 1960-х — начале 1970-х. Отдел не международный, но тем не менее, могли же присоединить к какой-нибудь делегации… Про маму и говорить нечего: один из ведущих в стране преподавателей французского языка так никогда в жизни и не побывала во Франции, даже по обмену, даже с учениками. Мне запомнилась поездка родителей в Чехословакию: очень вкусные *Oplatky* и феерическая кожаная куртка. Болгария: феерическая замшевая куртка, лучше которой, что характерно, уже не было никогда.

Итальянский эпизод, конечно, очень отцовский. Романтическая наивность порыва, к тому же еще и облеченная в музыкальную форму, всегда подкупает. Да и откуда было знать итальянцам, что марксистская песня в Советском Союзе давным-давно банализирована, и спеть припев может каждый советский школьник, не имея представления об итальянском языке. Как у нас, разумеется, не знали, что это вовсе не партизанская песня, написана она в начале XX века, у нее много вариантов, хотя все — действительно леваческие.

Сохранилась фотография: загоревший на пляжах Римини отец сидит в ресторане и мрачно смотрит в объектив — мол, не нравится мне эта вся ваша буржуазная реальность. В Римини он оставался верен себе: выбегал рано утром, до завтрака, на пляж и делал там зарядку. Итальянцам это нравилось. Они улыбались и приветствовали иностранца-спортсмена.

Тогда еще людей можно было чем-то удивить. Теперь никого ничем удивить нельзя. И ничто никого не волнует. Но это я уж так, к слову…

* * *

Но самое занятное пение у меня было… в больнице. После первого инсульта, в тяжелом состоянии я лежал в реанимационном отделении ЦКБ. Там мы крепко подружились с работником Комитета народного контроля Владимиром Сергеевичем (фамилии, к сожалению, не помню). Он был покрепче меня, первым встал с постели. Раскачиваясь, как утка, он подходил ко мне, присаживался, и мы с ним начинали… петь в этом царстве полусмерти-полужизни. Наверное, было дико слышать из реанимации довольно хриплые звуки: «Бродяга хочет отдохнуть…» или «В бою не сдается наш гордый „Варяг“». Во всяком случае, медсестры были довольны — такого они никогда не слыхивали в своем отделении.

После перевода в общую палату ко мне стал приходить массажист Иван Семенович — украинец не только по национальности, но и по убеждениям. По убеждениям мы часто спорили, а по национальности — подружились, и во время сеанса массажа пели все известные мне украинские песни. Что за прелесть украинские песни! Недаром украинские голоса схожи с итальянскими. Кстати, по-украински я начал читать самостоятельно, и очень простым способом. Начал читать Тараса Шевченко в русском переводе и понял, что здесь что-то не то, явное искажение автора. Взялся за подлинный «Кобзарь» — и был очарован музыкой настоящей украинской мовы. А потом освоил и ряд украинских песен. В Киеве во время командировочных застолий выяснилось, что я знаю больше украинских песен, чем мои «щирые» хозяева.

А в общем-то, в дружеских компаниях поется от силы 20–30 песен, среди которых — туристские, отдельная и огромная отрасль народного фольклора, фронтовые и послевоенные, в том числе — «Случайный вальс» Фрадкина и Долматовского. Однажды в случайной сборной компании отдыхающих на турбазе в Прибалтике по просьбе Марка Григорьевича Фрадкина мы спели его песни. Оказалось, что люди, приехавшие со всей страны от Калининграда до Камчатки, за один вечер у костра вспомнили и спели пятьдесят пять его песен! Марк Григорьевич был доволен, и мы с ним подружились.

Там же, в Юрмале, мы подружились и познакомились с Павлом Аедоницким — внуком нижегородского протодиакона, от голоса которого, по преданию, лопались стекла в окнах. Его проникновенные и мелодичные песни особенно пришлись по душе мне и Деле.

Могу только пожалеть, что не научил своих детей столь же пламенной любви к песне и игре на музыкальных инструментах. Ведь без этого жизнь не полна.

Фрадкин, Фельцман, Френкель — эти три «Ф» русских советских композиторов. Чего только не пели и как только не пели на мотивы их песен. В нетрезвой компании друзей моего брата — циничных молодых интеллектуалов 1970-х, загнанных в ловушку застоя, — пели на мотив «Увезу тебя я в тундру…» песенку «Увезу тебя в Израиль, увезу тебя туда, где на небе нам сияет соломонова звезда». «Что-то с памятью моей стало» — присказка под нос в момент поисков потерявшегося предмета. Ну и так далее.

Ах, этот саундтрек папиной жизни, этот любительский хор, эти содранные в кровь о гитарные струны пальцы, официантки, сложившие головы на руки, заслушавшиеся молодого кандидата наук в белой рубашке и с тонким черным галстуком, эти нежные компании друзей, поющих чуть охрипшими голосами «Ты мое дыхание…», *Bandiera rossa* на родине песни, белопесчаная Юрмала с Фрадкиным и Аедоницким, «Варяг» в реанимационном отделении… В последние свои годы он уже ничего не пел. Гитару в руки брать не рисковал, потому что эти большие красивые руки не слушались его. На это было очень больно смотреть.

Всё проходит. И только боль не проходит никогда. Память — боль. Ностальгия — тоже боль. Вина — боль. И вина всегда — по-пастернаковски — «неотпущенная». И всё время, как писал Давид Самойлов, жжешь корабли, которые давно утонули.

Я едва успел на его похороны, вернувшись из-за границы.

Надо было положить в могилу гитару. И на надгробии написать: «Возьми гитару, спой, Володя, пусть песня облаком плывет…»

Не додумался я…

Сиротство — это когда некому задать вопрос: «Что мне делать, мама?» или «Как мне себя повести, папа?» И неважно то, что я никогда не задавал им таких вопросов (только иногда — брату). Да и, наверное, неважным был бы ответ. Важна сама возможность задать такой вопрос. Если ее нет — ощущаешь свое сиротство. Особенно когда терпишь поражения. Главные поражения в жизни — это голы в свои ворота. Воспоминания об автоголах, как для бывшего спортсмена, — тяжелое, никуда не девающееся с годами моральное бремя. И ворота приходится защищать от себя самого — самому себе. Больше уже некому.

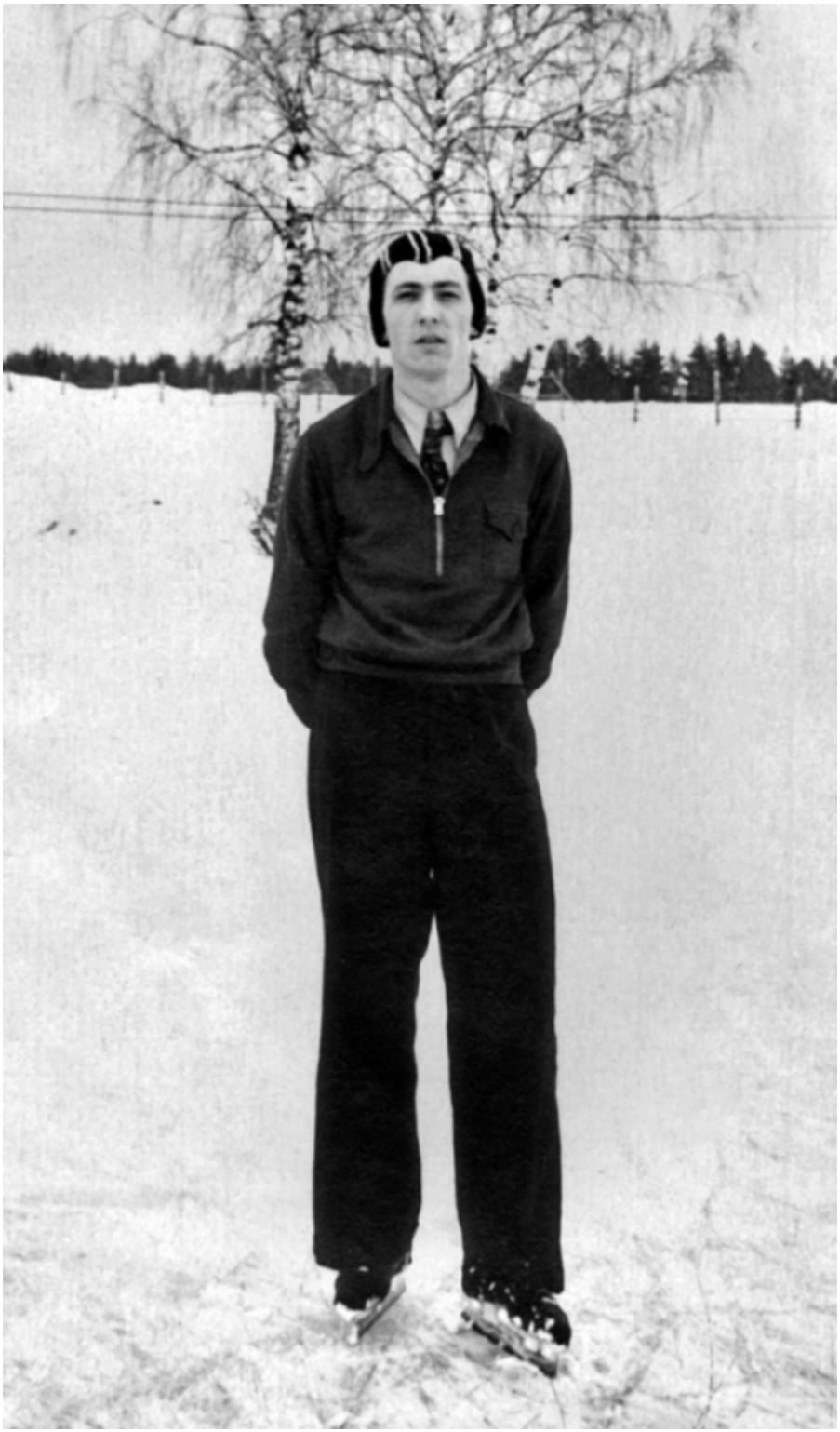
Перелистываю свои дневники — рабочие записи, заметки, сделанные в командировках, зарубежных поездках, — и возвращаюсь к тем мгновениям собственной судьбы и судьбы страны, которые сейчас стали уже историей. Но ведь это та судьба и та история, которые пребудут вечно. И я счастлив, что «посетил сей мир в его минуты роковые», что со мной рядом всегда были

мои друзья и моя семья, что я не покривил душой перед испытаниями времени. Это я и хочу завещать своим детям, внукам и правнукам.

…Вереск на этом острове совсем не похож на вереск в Прибалтике, который всегда напоминает мне об отце. Он пахнет сильнее и цветет ярче. Но это он. Хотя и не сразу, но я его узнал, как радовался ему однажды в Альпах, потому что это как будто была встреча с папой. Зимы там теперь теплые, и пригорок освободился от снега; странно было трогать вереск лыжной палкой. Всё равно что проводить рукой по стриженой голове ребенка. Отец радовался бы такой находке, да еще зимой. И весело оттолкнулся бы лыжными палками. И снова передо мной оказалась бы его спина. И я снова стал бы его догонять, продолжая этот бесконечный бег по лыжне.

За его спиной.

Иллюстрации



Папа. Конькобежный шик конца 1940-х.

Адель (Деля) Трауб и Володя Колесников. Конец 1940-х.

моему родному, единственному.

Дель

10/XI-47 г.

Родители познакомились и полюбили друг друга еще в школьные годы. Уже студентами знали, что поженятся. Папа бравирует своим сходством с Маяковским.

Прадеды по материнской линии — выходцы из Латвии.

Залман Трауб

Гершон Кац-Каган

Мой дед Давид Трауб (в центре) и бабушка Любовь Кац-Каган. Он — талантливый архитектор, был арестован в 1938-м, погиб в Устьвымлаге в 1946-м.

г. Семенов.

Горьковск. Обл.

Ул. Профсоюзов д. № 7.

Тов Рейн М. И. для Яцы

АССР, Железнодорожный р-он

с. Вожаель п/я 243/14.

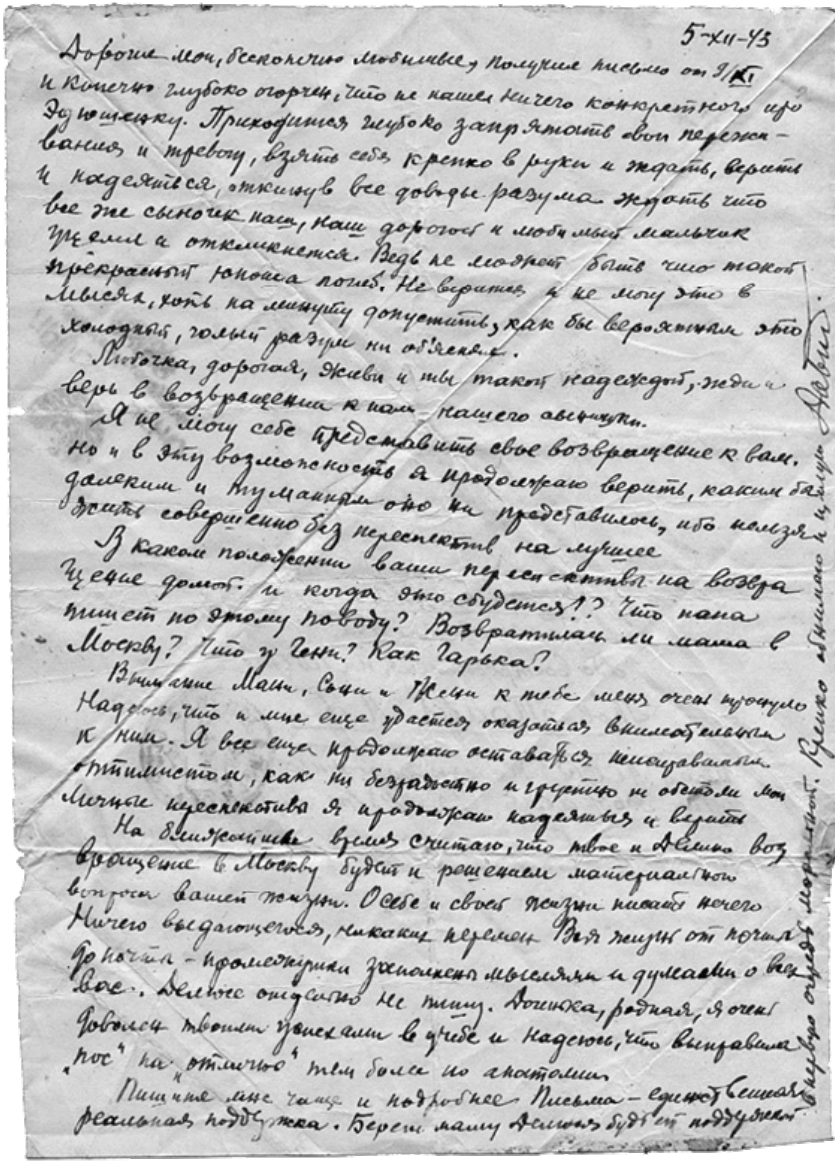
Трауб Д. С.

ПРОСМОТРЕНО
Военной цензурой
г. Сыктывкар
СССР
ГОРЬК. ОБЛ.

ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА
CARTE POSTALE
СССР
20
Куда г. Москва
Наименование места, где находится почта, и области или края, а для станций — наименование железной дороги
(гор. село или деревня)
улица Горького 24 кв 46
Улица, № дома и квартиры
Кому Трауб Адель Давыдовне
Подробное наименование адресата
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ АДРЕСНОЙ ПОЧТОВОЙ КАРТОЧКОЙ ПРИ НАВЕДЕНИИ АДРЕСНЫХ СПРАВОК
Адрес отправителя
Adresse de l'expéditeur
Коми АССР Железнодорожная ул
г Воркута к/п 243/14 Трауб Д.

г. Семенов
Горьковской обл.
До востребования на почте
Тов. Трауб Л. Г.
Коми АССР Железнодорожный
Пос. Возкасель п/я 243/14

г. Семенов
Горьковск. обл.
ул. Пролетарская N 7
тов. Рейх А. Н.



5-XII-23

Дорогие мои, бесконечно любимые, получил письмо от 9/XI и конечно глубоко огорчен, что не нашел ничего конкретного про Эдьюшеньку. Приходится глубоко запрятывать свои переживания и тревогу, взять себя крепко в руки и ждать, верить и надеяться, отгнавши все доводы разума. Жду и что все те сыночек наш, наш дорогой и любимый мальчик тебе ли откликнется. Ведь не может быть что такой прекрасный роман мог. Не верится и не могу это в мысли, хоть на минуту допустить, как бы вероятна эта холодная, голый разум ни объявлял.

Любочка, дорогая, живи и ты такой надеждой, жди и верь в возвращение к нам нашего сыночка.

Я не могу себе представить свое возвращение к вам. Но и в эту возможность я продолжаю верить, каким бы далеким и кумаником оно не представилось, ибо нельзя жить совершенно без перспектив на лучшее.

В каком положении ваши перспективы на возвращение домой. И когда это сбудется!? Что нам пишет по этому поводу? Возвратилась ли мама в Москву? Что у Гени? Как Гарька?

Вниманье Маш, Сони и Жени к тебе мне очень трогательно. Надеюсь, что и мне еще удастся оказаться вашим близким к ним. Я все еще продолжаю оставаться неисправимым оптимистом, как ни безрадостно и грустно не обстоят мои личные перспективы. Я продолжаю надеяться и верить.

На ближайшее время считаю, что мое и Дэлино возвращение в Москву будет и решающим материальный вопрос вашей жизни. О себе и своей жизни писать нечего. Ничего выдающегося, никаких перемен. Вся жизнь от начала до конца - проведенная исключительно мыслями и думами о вас. Все. Больше описать не могу. Дочка, родная, я очень довольна твоими успехами в учебе и надеюсь, что выправишь "пос" на "отлично" тем более по анатомии.

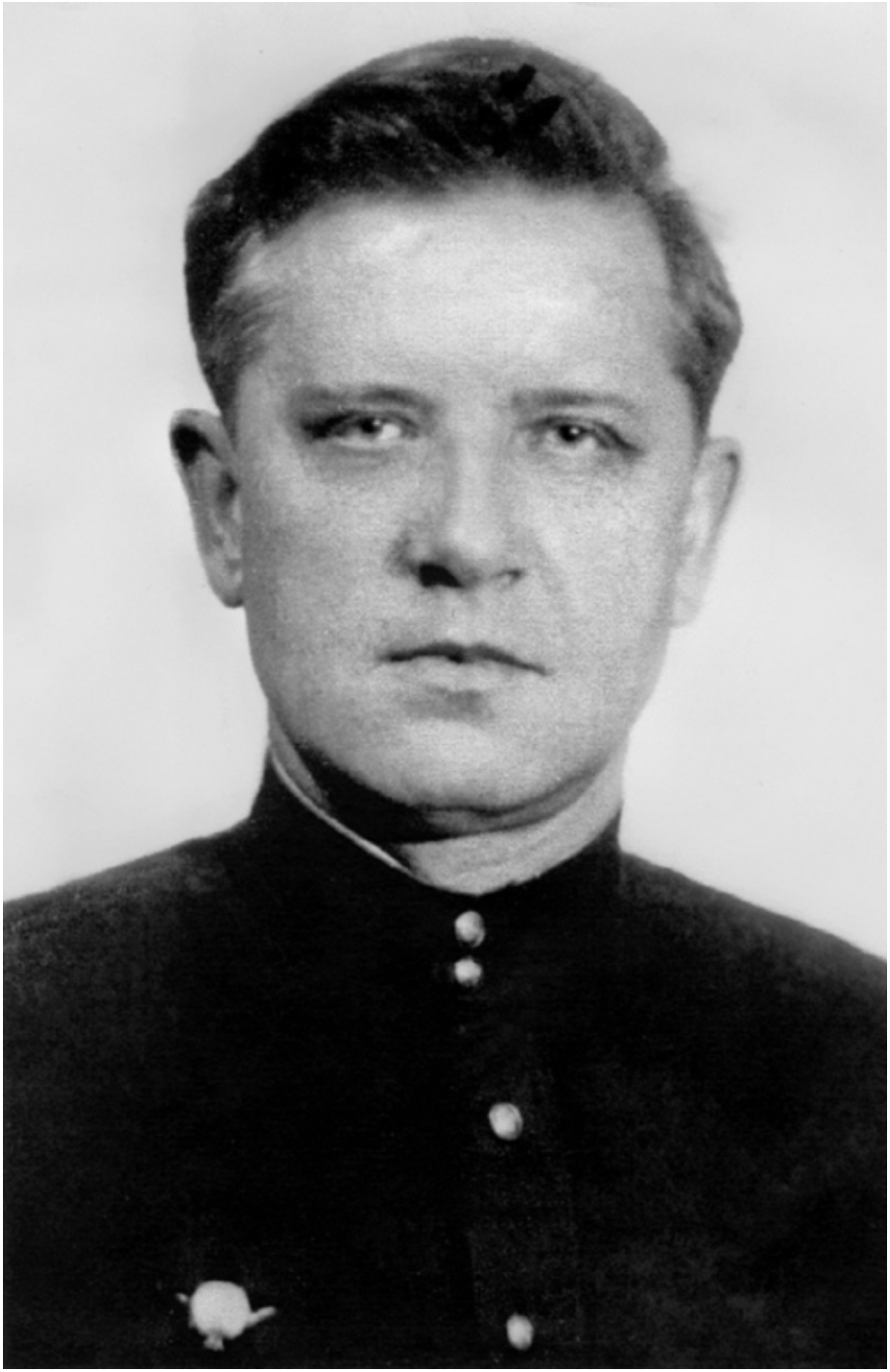
Пиши мне чаще и подробнее. Письма - единственная реальная поддержка. Береги маму. Дэлина будет поддержкой.

Крепко обнимаю и целую. Папа.

Сохранились его письма из Вожаеля — жене (Любе Трауб), дочери (Деле Трауб), родственникам. 1920-е.

Детство бабушек, начало XX века. Бабушка Люба (крайняя слева) с братьями и сестрами (Двинск)

Семья бабушки Дуни (Рязань). Евдокия Дмитриевна Миронова (в будущем Колесникова) на руках у мамы.



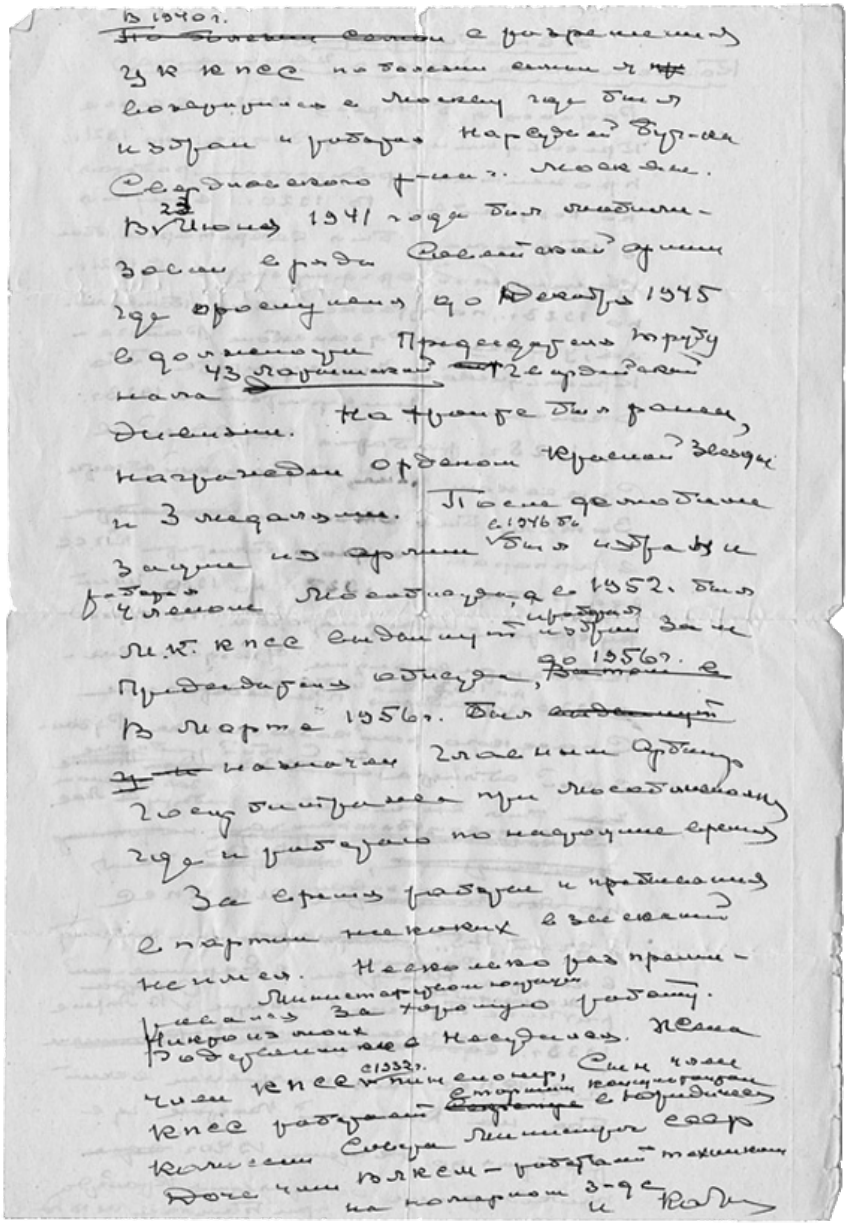
Другой мой дед Иван Иванович Колесников с орденом Красной Звезды. Он служил в 43-й Латышской дивизии.

Автобиография

Колесникова Ивана Ивановича

Родился я 5 Апреля 1903г. в семье крестьянина-середняка, до 1921г. проживал с родителями-работал по хозяйству. В 1920г. вступил в Комсомол, был секретарем ком. ячейки Соломенской организации. С 1921г. по 1923г., по случаю ухода комсомольца, учился с рабочим рабфаке Крестьянском Университете. По окончании по 1928г. работал народным судьей в Спасском районе, Рязанской области. Затем был отозван Губкомом ВКП(б) в аппарат где работал с 1928г. по 1930 инструктором-инструктором. В период коллективизации с 1930г. работал председателем Спасского райисполкома, Рязанской области. С 1933г. по 1936г. был избран председателем Спасского райисполкома, Рязанской области, за активную работу в этой должности, в 1933г. был направлен на учебу в Москву в Институт Советского Строительства и Права, который окончил в 1938г. Со второго курса был мобилизован в Красную Армию, где служил до Августа 1940г. Уволен по болезни и

Архив Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина



Свою автобиографию уместил на двух страницах.

Мама, как и все в семье, очень любила самую младшую бабушкину сестру — тетю Геню Кац-Каган. Несмотря на тяжелую жизнь она до конца оставалась изящной, красивой, остроумной.

Семейное застолье. Справа — тетя Геня с путешественником

и фотографом Александром Потресовым. Бабушка Люба обнимает свою двоюродную сестру (жену Потресова) художницу Тамару Рейн. 1960-е.

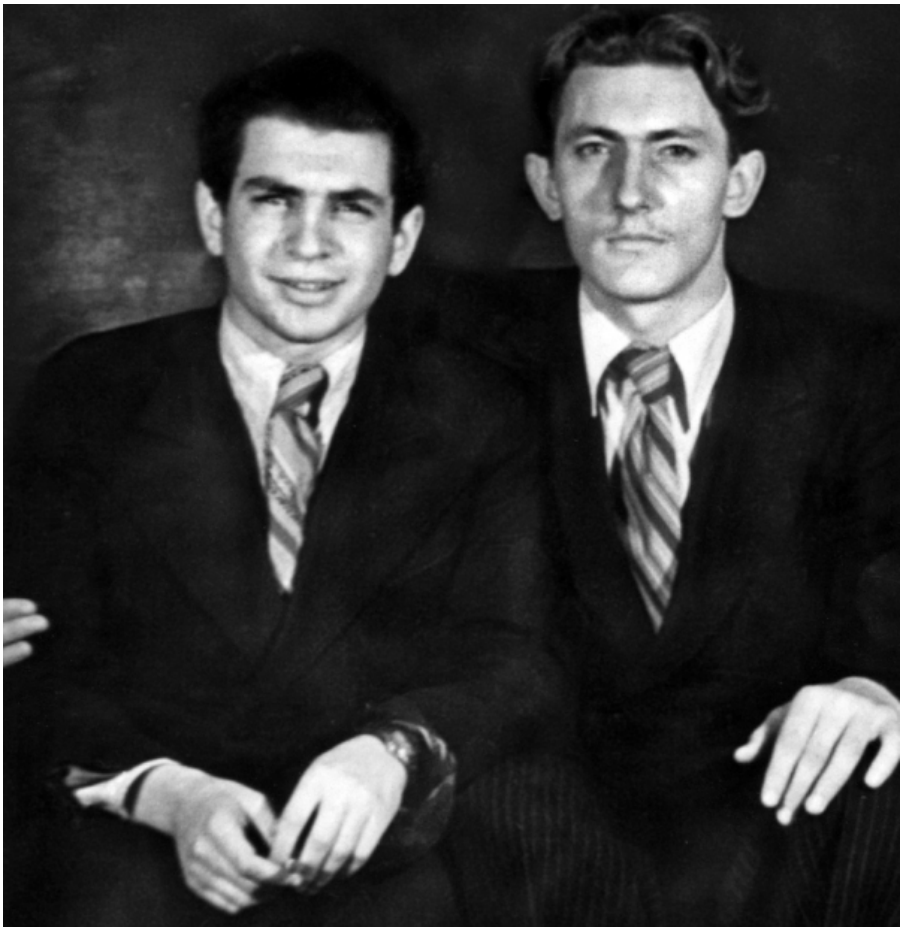
Редколлегия стенгазеты 167 школы „За счастливую юность": 1939 г.
слева направо: Горя Вольпинский, Лёня Лопатников, Нина Попова, Эрик Трауб, Неймарк.
Фото Т. Кравченко

Мамин брат Эдуард Трауб (второй справа) готовит стенгазету. Он ушел на фронт в 18 и погиб в 1943-м на Курской дуге. Второй слева — Лёня Лопатников, школьный друг дяди, в будущем — знаменитый экономист и редактор.

Папа, мама и ближайший друг отца, будущий историк Володя Митяев. Вторая половина 1940-х.

Молодость и братство. В 1945-м эти ребята организовали «Общество старых друзей» и полвека встречались каждый год 10 января. 1950-е.

Мама (справа) с подругами из Института имени Мориса Тереза. В центре — Эмма Мхитарян, вместе они напишут множество учебников по французскому языку для спецшкол. Начало 1950-х.



Папа с одногруппником Дмитрием Левенсоном, впоследствии известным адвокатом и важным человеком уже в моей жизни.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ

№ записи	Дата: год	Дата: Месяц	Дата: Число	Сведения о приеме на работе и увольнении	работу, перемещениях по (с указанием причин)	На основании чего внесена запись (документ, его дата и номер)
1	2				3	4
				До поступления в Верховный Суд СССР		
				нигде не работал		
				Верховный Суд СССР		
1	1951	VIII	1	Зачислен на должность референта		Пр. № 163
				Канцелярии		от 31/VIII 51.
2	1952	IV	1	Переведен временно по консультанта		Пр. 49 к
				Судебной коллегии	по уголовным делам	28/III 52
3	1953	X	1	Числить консультантом Судебной коллегии		Пр. 251 от 5/X 53
				по уголовным делам		
				Освобожден от занимаемой должности		Приказ № 59
4	1954	III	26	в связи с переводом в МГК КПСС		от 25/III-54г.
				Пом. Председателя Верховного		
				Суда СССР по кадрам		Ф. Евтеев

Окончив Московский юридический институт, папа получил распределение в Верховный суд СССР.

Убежденный коммунист, он никогда не пропускал праздничные демонстрации. 1952.

В 1952-м родился мой старший брат Сережа. Лето провели на съемной даче (станция Левобережная).

Семья отца в полном составе (меня тогда еще не было). Слева направо: тетя Лена (сестра отца), дед Иван Иванович, мама, бабушка Евдокия Дмитриевна, папа и, вероятно, сестра деда. К дедушке прижался Сережа. Конец 1950-х.

Папа, бабушка Дуня и я. Уже в новой — отдельной! — квартире на Ленинском проспекте. 1966.

Я был поздним и чрезмерно обожаемым ребенком. Сочи, конец 1960-х.

Если отдых — то в пижамных штанах. Рубеж 1950-1960-х.

В конце 1950-х — начале 1960-х родители отправлялись в лыжные и горные походы. Часто с друзьями. Мама даже водила в горы Кавказа и Тянь-Шаня своих учеников. У нее был разряд по туризму.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 93

Тов. Колесников Владимир Иванович

является внештатным инструктором отдела парторгано в

Действительно по 31 декабря 1961 г.

Управляющий делами МК и МГК КПСС

Продлено

по 31 декабря 1962

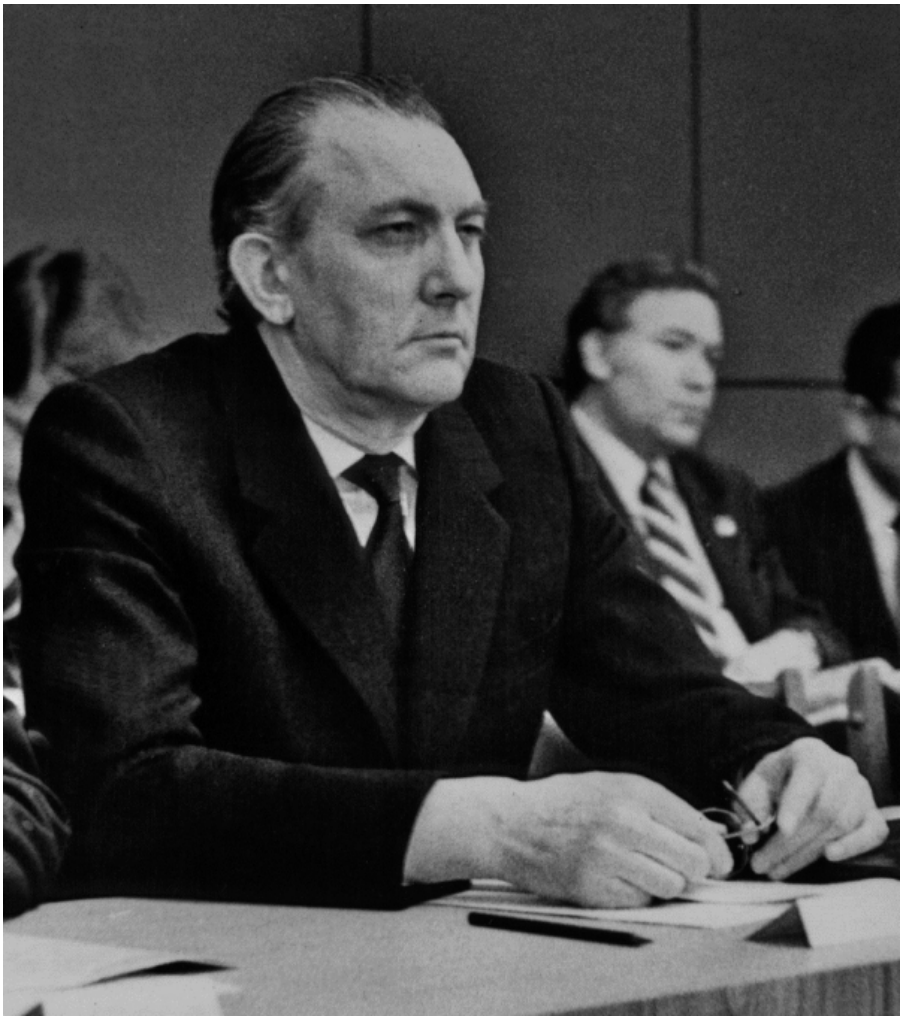
Управляющий делами МК и МГК КПСС

Продлено

по ..... 19...

Управляющий делами МК и МГК КПСС

Личная подпись

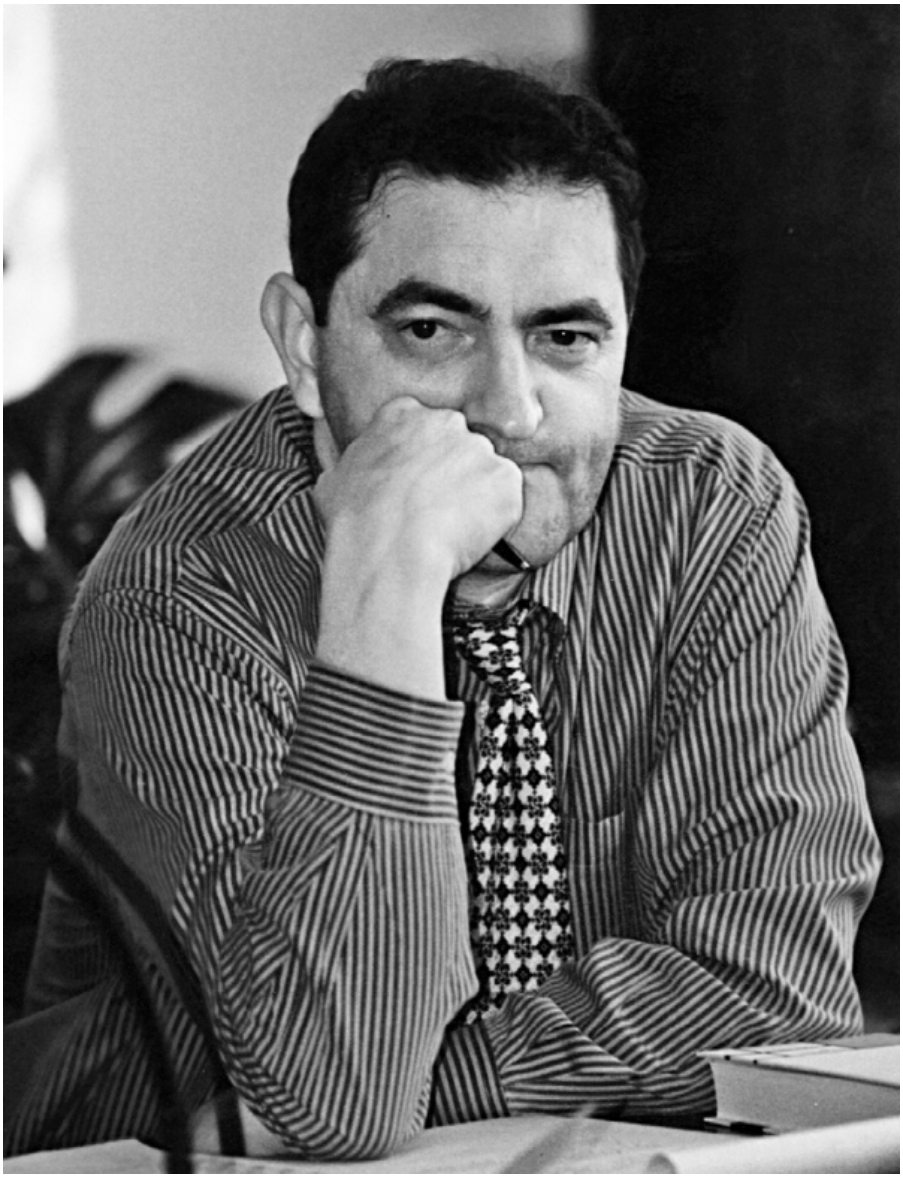


В 1960-е папа работал в Комитете партгосконтроля, затем в Юркомиссии, был внештатным сотрудником МГК, защитил кандидатскую диссертацию. С 1966-го по 1986-й работал в ЦК, на Старой площади. В перестройку он стал заведующим приемной Верховного совета СССР.

Ничто человеческое не было чуждо учителям французской спецшколы № 2 им. Ромена Роллана. Рубеж 1950-1960-х.

Мама с любимым выпуском «второй спец». Они до сих пор ее помнят. Середина 1960-х.

Брат-подросток изображает пьяницу. Середина 1960-х.



Сергей стал историком, позже редактором и журналистом — работал в «Правде» и «Коммунисте», был помощником секретаря ЦК Ивана Фролова, а в 1990-е — спичрайтером сначала Егора Гайдара, затем Виктора Черномырдина.

В 1970-е всей семьей отдыхали в Прибалтике.

Я с мамой на террасе дома Томаса Манна в Ниде.

С Мишей Бененсоном. На пляже.

Папа всегда и везде — с гитарой. 1970-е.

Друзей родителей я помню веселыми, счастливыми, поющими — похожими на персонажей «оттепельного» кино 1960-х.

Конец 1980-х и карьеры. Владимир Колесников на даче в «Снегирях». Читает толстый журнал — как и положено в перестройку.